



ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ

ЖЕНИХ ЦАРЕВНЫ



## Annotation

Роман-хроника XVII века рассказывает о сватовстве датского королевича Вольдемара к царевне Ирине Михайловне, старшей дочери первого царя из династии Романовых.

---

- [Всеволод Сергеевич Соловьев](#)

- 

- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)

- [I](#)
- [II](#)
- [III](#)
- [IV](#)
- [V](#)
- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [XIV](#)
- [XV](#)
- [XVI](#)
- [XVII](#)
- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [XX](#)
- [XXI](#)
- [XXII](#)
- [XXIII](#)
- [XXIV](#)
- [XXV](#)
- [XXVI](#)

- [XXVII](#)
- [XXVIII](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
  - [I](#)
  - [II](#)
  - [III](#)
  - [IV](#)
  - [V](#)
  - [VI](#)
  - [VII](#)
  - [VIII](#)
  - [IX](#)
  - [X](#)
  - [XI](#)
  - [XII](#)
  - [XIII](#)
  - [XIV](#)
  - [XV](#)
  - [XVI](#)
  - [XVII](#)
  - [XVIII](#)
  - [XIX](#)
  - [XX](#)
  - [XXI](#)
  - [XXII](#)
  - [XXIII](#)
  - [XXIV](#)
  - [XXV](#)
  - [XXVI](#)
  - [XXVII](#)
- [ЭПИЛОГ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [6](#)
  - [7](#)
  - [8](#)
  - [9](#)
  - [10](#)
  - [11](#)
  - [12](#)
  - [13](#)
  - [14](#)
  - [15](#)
  - [16](#)
  - [17](#)
  - [18](#)
  - [19](#)
  - [20](#)
  - [21](#)
  - [22](#)
-

**Всеволод Сергеевич Соловьев**  
**Жених царевны**

*Роман-хроника XVII века.*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ранний зимний вечер уже давно наступил, и в царицыном тереме по всем покоям и переходам зажглись огни. Мама царевны Ирины Михайловны,<sup>[1]</sup> княгиня Марья Ивановна Хованская, сидела у себя в опочивальне. Она только что пришла от царицы после долгой и весьма важной беседы и теперь крепко пораздумалась. На некрасивом и уже давно поблекшем лице ее, освещенном, однако, большими и добрыми голубыми глазами, читалось необычайное смущение.

Женщина она была спокойная, рассудительная, ко всему. Что творилось вокруг нее в этом обширном человеческом муравейнике, носившем название царского терема, она относилась всегда без волнения и редко что принимала к сердцу. Но сегодняшняя беседа с царицей Евдокией Лукьяновной выходила из ряда вон. Было над чем подумать и чем смутиться.

Княгиня временами начинала даже шептать что-то почти вслух, с недоумением качала головою и разводила руками. Низенькая дубовая дверь опочивальни скрипнула.

— Кто там? — очнувшись, спросила Марья Ивановна.

— Это я, матушка-княгинюшка... Дозволишь войти на малую минутку али недосуг тебе? — послышался знакомый голос.

— Войди, ничего, войди, Настасья Максимовна! — сказала княгиня.

Дверь отворилась и пропустила небольшую, плотную еще не старую женщину. Это была одна из царицыных постельниц, пользовавшаяся, несмотря на свой не слишком важный чин и всем ведомое худородство, большим значением и влиянием в тереме.

— Что скажешь, матушка?... Присядь-ка! — указала княгиня рядом с собою на низенькую скамью, покрытую мягким стеганым тюфячком.

— Спасибо, княгинюшка, рассаживаться недосуг — где уж тут, дел-то с этими негодными людишками полон рот, от заутрени до заутрени не справиться... Я всего на одно слово зашла...

— Что такое, Настасья Максимовна, али по терему неладно?

— Да все Машутка, то есть вот никакого, никакого с ней сладу... Моченьки моей нету с этой девчонкой! — проговорила Настасья Максимовна с таким негодованием, какого даже нельзя было и ожидать от ее дышавшей добродушием фигуры.

— Что же такое еще натворила твоя Машутка? Разбила али попортила что-нибудь царевнино? — с недовольной улыбкой спросила княгиня.

— Какое там разбила! Этим стала бы я тебя тревожить! Не мое дело ее черепки считать... Во сто крат хуже, княгинюшка!.. Ты ведь от царицы... запершись с нею была... о деле каком, видно, толковали... Вот вхожу я в Царицыну опочивальню, нынче-то мой наряд, да как вошла, вижу: занавеси-то будто и шевелятся. Кошка, думаю, забралась, — ну как, не ровен час, да государыню-то ночью напугает! Тихим шагом я к занавеске, ан глядь, то не кошка, а Машутка-негодница притаилась. Я ее за ухо и вытащила. Ты что это, мол, дрянь девчонка, говорю, как это ты сюда забралась, что это ты, говорю, за государыней подслушиваешь? Да тебя за такие дела убить, говорю, мало! А она-то: глядит на меня своими бесстыжими глазищами и хоть бы сморгнула. Воля твоя, говорит, убей ты меня, Настасья Максимовна, а подслушивать у меня и в мыслях не было, да ничего и не слыхала. Как сюда, говорит, забежала, сама не ведаю — дверьми обозналась. Вижу, говорит, государынина опочивальня, дух у меня захватило со страху, а тут дверь скрип, я и за занавеску... Ведь вишь, что выдумала!.. И не сморгнет Я ее держу за ухо, крепко держу, а она во все глаза на меня, ровно истукан какой... Ну, сама посуди, княгинюшка, ну что ж с этим зельем теперь делать?!

Княгиня задумалась.

— А может, девчонка и не врет, — сказала она, — бес в ней сидит, это верно, ровно коза она скачет, ровно волчок вертится... Может, и точно, забежала зря в опочивальню да о страхе, как ты вошла, за занавеску и спряталась... мудреного тут нет...

Настасья Максимовна вся так и побагровела.

— Ну... и ты, княгинюшка, вместе с царевной ее покрываешь! — воскликнула она, разводя руками.

— Не покрываю, а ведь что же... не убивать же ее, сиротинку! Ну, накажи ее как знаешь...



— Что мне ее наказывать, ухо-то у нее я крепко подержала, а только сил с нею нету, от рук она отбилась; как что, сейчас к царевне, а та за нее горой... Но только, ежели я на таком подслушивании ее накрыла, могу ли я умолчать перед тобою? Должна я о том тебе доложить али нет?

— Вестимо, как не сказать... Ну вот я Машутку и поспрошаю... там видно будет...

— Да только ты не верь ей, княгинюшка, не верь ни единому ее слову... вся она изолгалась, и стыда в ней нету ни на волос!

— Теперь-то где ж она?

— Где, как не у царевны.

— Так вот я и пойду.

У княгини мелькнуло в мысли: «А ну, коли и впрямь Машутка подслушала да Иринушке передала!.. Не дай Бог!» Встревоженная этой мыслью, царевнина мама поднялась со скамьи и быстро вышла из опочивальни.

## II

Княгиня Марья Ивановна как можно тише подошла к покою царевны, постаралась как можно неслышнее отворить дверь и заглянуть так, чтобы ее появление не сразу заметили. Однако, несмотря на это, она не увидела и не услышала решительно ничего подозрительного. Царевна Ирина сидела за большими пальцами и при свете двух толстых восковых свечей была, по-видимому, прилежно занята рукоделием. Возле нее в почтительной и скромной позе стояла стройная девочка лет пятнадцати. Увидев входившую княгиню, эта девочка еще больше опустила глаза, и все несколько бледное, хотя хорошенькое, лицо ее сложилось в очень жалкую мину. Княгиня прямо подошла к девочке:

— Ты чего это здесь? Что делаешь?

Та подняла на нее большие темно-серые глаза, в которых читались не только робость, но и настоящий страх. Но за нее ответила царевна:

— Это я, матушка, позвала ее, учу рукоделию. Я работаю, а она смотрит, перенимает.

— Нечего сказать, много переймет, хороша рукодельница! Да и ты, царевна, что за мастерица! Ежели девчонке и впрямь рукодельничать охота, так пускай у мастериц и обучается. Избаловала ты совсем Машутку, со всех сторон только жалобы на нее и слышу.

Девочка опять опустила глаза и так и застыла совершенным олицетворением скромности и испуга. Между тем княгиня продолжала:

— Ну да не о рукоделиях теперь! А вот ты скажи-ка мне, Машутка, была ты эдак с полчаса тому времени в государыниной опочивальне?

Девочка вскинула было глаза на княгиню, но опять опустила их и молчала.

— Что ж, язык у тебя есть, отвечай, коли спрашивают!..

Девочка едва слышно ответила:

— Была...

— А! Была!.. Как же ты смела?... Каким путем туда попала?!

— Не знаю... — скорее вздохнула, чем сказала, девочка.

— Как — не знаю! Как ты смеешь мне так отвечать? Кто же знает? — крикнула княгиня.

Но тут царевна пришла на помощь своей любимице.

— Мамушка, да не запугивай ты ее, — произнесла она милым, ласкающим голосом, поднимаясь с места, и, подойдя к княгине, обняла ее. — Уж она мне в своей вине повинилась... Ну, что же ей и отвечать-то, коли и впрямь не знает, как она забежала?! Это и со мной ведь по сю пору случается, разыграешься, бежишь, словно на крыльях летишь, словно несет кто тебя, и двери будто сами собою перед тобою отворяются. Ну, вот и забежала, перепугалась. Уж ты не казни ее, не брани, она не нарочно и впрямь такого не делает...

Говоря это, царевна прижалась своей нежной горячей щечкой к дряблой, покрытой белилами щеке княгини.

— Заступница, баловница! — произнесла та с полупечальной улыбкой и тихонько отстраняясь. — А у двери за занавеской зачем была? — обратилась она к девочке. Та теперь уже не стояла с опущенными глазами, а глядела ими прямо в глаза княгини, глядела пристальным, смущающим взглядом, в котором ничего нельзя было разобрать и который так раздражал Настасью Максимовну.

— За занавеской-то зачем? — произнесла она, и голос ее уже дрожал от страха. — Не то что за занавеску, а и под кровать, куда попало спрячешься от Настасьи Максимовны, ведь она ухо-то мне как! — закончила она, поднося руку к своему красному и даже несколько припухшему уху.

— Ухо-то посмотри, мамушка, ведь это что же такое, ведь этак Настасья Максимовна ей когда-нибудь совсем оторвет уши! — сказала царевна. — Ведь не впервые это, так как же тут не прятаться от нее?

— Настасья Максимовна женщина не злая, даром драть за уши не станет, — строго сказала княгиня. — Ну и что же, долго ты, Машутка, за занавеской стояла?

— Какой же долго, когда она вслед за мной пришла. Как вбежала я, не успела опомниться, слышу — шаги, а шаги ее я всегда за три покоя узнаю, огляделась — куда мне, вижу — занавеска, я и шмыг. Притаилась. А она так прямо и идет на меня, занавеску-то отдернула, а меня за ухо и вывела, — медленно, с небольшой запинкой, но уже без особой робости объясняла Машутка и все продолжала, не мигая, прямо смотреть в глаза княгини, так что той стало неловко от этого

взгляда. Неловко, и в то же время все ее сердце, вся ее раздраженность быстро утихали, может быть, под влиянием этого же взгляда. Ведь это она первая обратила внимание на бойкую, смышленную девочку-сиротку. Она приставила ее для мелких услуг к своей царевне и до сих пор, несмотря на все Машуткины провинности и частые на нее жалобы, миловала ее и жалела.

Что же теперь с ней делать? Докладывать государыне о том, что постельница поймала ее в опочивальне у двери, где она подслушивала? Плохо придется Машутке, ведь за такое дело, ведь за подслушивание слов государыниных ее надо не только выгнать навсегда из терема, но придется сослать куда-нибудь подальше, в какой ни на есть строгий женский монастырь... и конец там Машутке на веки вечные!

А может, она и без вины виновата, может, и впрямь все так, как она объясняет?!. На то похоже. Ведь кабы долго она там была, притулившись у двери, кабы могла подслушать всю беседу, то, конечно, успела бы уже передать о ней царевне, и в таком разе сейчас, вслед за таким известием, разве Иринушка могла бы быть спокойной?! А вот она спокойна. Как ни всматривается в свою воспитанницу княгиня Марья Ивановна, ничего не замечает в ней особенного. Нет, решительно все так и было, как объясняет Машутка: ничего она не подслушала, не успела. А что бегают девчонка ровно белены объелась — так этому предел положить надо. Да авось теперь уймется. Ишь, ухо-то! Раздуло его... И впрямь ручки у Настасьи Максимовны не бархатные...

Княгиня сделала строгое, серьезное лицо и обратилась к провинившейся:

— Слушай ты меня, озорница! — насколько могла суровым голосом объявила она. — Выдрали тебя за ухо, да мало, ну уж Бог с тобою, по глупости твоей на сей раз еще вина тебе прощается, не доложу я о ней государыне, пощажу я тебя. Только слушай ты меня и на носу у себя заруби: коли ежели еще раз что-нибудь такое случится — кончено, только и жизни твоей! В тот же день, слышь, — в тот же час тебя здесь не будет, и куда тебя увезут, и куда тебя денут, про то никто даже и не узнает... не ты первая, не ты последняя, чай, сама понимать можешь, не малолеток ведь уж, что за такое депо бывает...

Царевна улыбалась. Машутка тихонько подошла, склонилась, поймала и поцеловала руку княгине.

— Смотри ты у меня, смотри! — погрозила та, сердито отдергивая руку. А сама думала: «Сиротинка ведь, без отца, без матери, не будь меня, заклевали бы ее, давно бы заклевали, так что и званья не осталось бы на белом свете». И княгине вдруг стало не то жаль девочки, не то приятно, что жизнь этой девочки и ее счастье — ее, княгининых, рук дело.

— Не прохлаждайся ты тут, и ты, царевна, не балуй ее через меру.

— Чем же я ее балую? — отозвалась царевна. — Посмотри-ка вот, мамушка, хорошо вот эти цветики вышли?

Она отшпилила платок, прикрывавший часть работы, и показала хитро расшитые шелками и бисером фантастические травы.

— Уж на что лучше, красота! — разглядывала с видом знатока княгиня.

— Так ведь это кто вышил: не я, а Машутка. Вот от пор и до сих — это все она! — звонко смеялась царевна, в то время как девочка снова приняла свою скромную позу и только искоса, одним глазком, взглядывала то на царевну, то на княгиню.

— Ишь ты, ну что ж, ничего, коли так: всякая девица сякого звания должна быть искусна на рукоделия, настоящее это наше женское дело, истое наше художество. Так вот ты бы, Машутка, и работала побольше, а беготню эту и шалости всякие пора оставить, не такие уж твои годы!

С этими словами, вспомнив, что, наверное, кто-нибудь уже ждет ее для всяких распоряжений на следующий день, княгиня вышла от царевны.

### III

В одно мгновение Маша преобразилась. Скромно опущенные глаза ее раскрылись во всю величину и загорелись бойким огоньком. Уже начавший округляться стан ее выпрямился. Бледные щеки подернулись легким румянцем. Тонкие ноздри прямого, несколько коротенького, зазорного носика расширились, будто у зверька, желающего удостовериться чутьем — насколько удалилась грозившая опасность.

Но своему чутью, своим тонким ноздрям Маша, очевидно, не доверилась: с большою легкостью и грацией, в два-три неслышных прыжка она очутилась у двери, осторожно приотворила ее и стала прислушиваться.

— Ушла! — наконец шепнула она, оборачиваясь к царевне и тихонько притворяя за собою дверь.

Ирина, уже севшая снова за пяльцы, подняла свою хорошенькую юную головку, зарделась вся как маков цвет и вздохнула.

— Эх, Маша! — сказала она. — Грех-то какой мы с тобой затеяли! Да и оторопь берет, ведь вот ты уж и попалась, ведь мамушка не шутит: того и жди, пропадешь ты из-за меня...

Маша кинулась к царевне, припала к ее коленям и стала целовать ее руки.

— Царевна, золотая моя, ненаглядная! — восторженно говорила она, заглядывая в глаза Ирины. — Не говори так, какой тут грех, а коли и грех, не твой он, а мой... И за меня не бойся, не пропаду, не загубит меня Настасья Максимовна, вывернусь, выкручусь, кругом пальца обведу Настасью Максимовну... не на таковскую напала...

— Шустра ты больно, Машуня, много берешь на себя — опять вздохнула царевна. — Ну, да уж рассказывай, что ты провела, о чем у двери-то услышала...

«Матушки мои, стыд-то какой, каким делом занимаюсь!» — невольно подумала царевна и совсем смутилась, но любопытство, даже нечто гораздо более серьезное, чем любопытство заставило ее забыть все упреки совести и жадно слушать.

— Сказала ведь я тебе, царевна, что узнаю всю правду, — начала Маша, — вот и узнала. Совсем уж решено это дело: выдают тебя за королевича и королевич уж на Москве, из-за моря приехал!

Ирина даже схватилась за сердце, так оно вдруг у нее застучало.

— Верно ли? Кто же это сказал? — едва слышно прошептала она.

— Государыня царица говорила, вот те Христос, своим вот этим ухом у замочной дырочки слышала, о том они с княгиней-то и толковали.

Ирина стыдливо потупилась и то бледнела, то краснела.

— Машуня, да как же это? — наконец произнесла она. — Ведь он не наш... ведь он басурман... Басурманской веры?!

— А уж этого я не знаю! — развела Маша руками. — Вот и княгиня то же говорила, все спрашивала государыню — как такое быть может, чтобы идти тебе за басурмана...

— Что же матушка-то государыня?

— Плачет она, вот что! — отрезала Маша.

— Пла-аает?!

— Да еще как плачет-то!.. Заливается! Княгиня-то ее все утешала... Ну а потом что было, я не знаю... вошла эта Максимовна да меня за ухо и вытащила... я от нее... с ухом-то... да к тебе... едва дождалась, едва утерпела, пока боярышни ушли и мы одни остались, а тут вон... и княгиня...

Ирина сильно задумалась, и сама не знала она, что такое творится с нею: и страшно, и радостно что-то, и дух захватывает, и ничего она понять не может... Ведь уж не впервой слышит она о королевиче этом, ведь уж давно-давно, когда она была еще несмышленочком, прозвучало перед нею это непонятное, таинственное и сразу почему-то запало в сердце, почему-то испугало, почему-то смутило — и с тех пор не выходило из памяти... Вольмар-королевич!

По зимним долгим вечерам в жарко натопленном покойчике, у горячей лежанки, старушки много всяких чудных сказок рассказывали маленьким царевнам. Были в тех сказках добрые и храбрые царевичи-королевичи, были в них красные девицы-царевны, и манили те сказки в свой мир заколдованный, за тридевять земель, в тридесятые царства, и тайна благоуханным цветком раскрывающейся любви, непонятная и неведомая, все же как-то трепетно и заманчиво сказывалась детскому сердцу.

А теперь вот и наяву будто начинает твориться волшебная сказка. Из тридесятого царства, из-за моря приехал королевич... и приехал он за нею, за царевной Ириной... Посадит он ее на коня богатырского и увезет... Куда? Зачем? По какому праву?... Отчего это так нужно?!

А видно — так и нужно, видно, есть у королевича права, потому что чувствует она всем своим существом, что над нею творится что-то особенное, роковое, неизбежное, что пришла какая-то великая, могучая сила и вот-вот захватит ее и увлечет... На счастье или на горе?... Ох как бьется сердце, как душа замирает, будто земля разверзлась под ногами, и так и тянет, так вот и тянет туда, в эту отверстую бездну...

— Машуня, как же быть-то теперь?

— А так вот и быть, что я стану все, как есть все разузнавать про королевича, и как что узнаю — так в тот же час и к тебе, царевна... Матушки! Никак, опять кто-то идет... Так и есть!

Маша замолчала, опустила глаза и застыла в скромной, почтительной позе.



## IV

Шила в мешке не утаишь: Машутка никому не проболталась, а на следующее утро неведомо каким образом весь терем, от боярынь до дурки Афимки, знал, что приехал из датской земли королевич и что тот королевич — жених царевны Ирины Михайловны.

Во дворце делались самые спешные приготовления приему дорогого гостя. Приготовления были веселые, весь дворцовый люд сразу оживился и как-то встряхнулся. Течение однообразной, день за днем, жизни было нарушено, явился животрепещущий интерес, ожидалось самые разнообразные впечатления, зрелища, события.

Во всех углах шли разговоры и рассказы о новоприезжих, которым был отведен обширный двор в Кремле. Стольники, дворяне, стряпчие, дьяки, стрелецкие начальники на «крыльце постельном», бояре, окольных, думные и ближние государевы люди «вверху», в «передней»,<sup>[2]</sup> бесчисленная прислуга и стражники — все это толковало:

— А людей-то с королевичем много, целое войско...

— Что ты?!

— Верно говорю, сам видел, как во двор они въезжали... и все немцы, кургузые, на голове перья болтаются, во всяком оружии, с мечами, ножами и пищалями...

— Ишь ты! Ну, а сам королевич-то каков?

— Да нешто ты не видал его в третьем году-то, как он приезжал с посольством?

— То-то что не привелось... Да полно, тот ли это самый королевич?

— А то какой же, вестимо, тот самый; тогда наехал для прилики, в послах будто, высмотрел все, ну, вот теперь и совсем к нам. Ничего, ладный парень, только из себя жидок больно, безбородый; вот в наше платье оденется да бороду отпустит — тогда ничего, вид знатный получит...

— А не слыхал, когда его крестить будут?

— Крестить-то?

— А то как же, ведь он басурман, немец, некрещеный, так разве царевну за нехристя можно отдать, ты как об этом думаешь, а?

— Это точно, что нельзя...

Всюду и между всеми разговор кончался вопросом о крещении королевича, и тут не было никаких разногласий. Все, от людей важных и чиновных до последнего стрельца, знали, что так как королевич — басурман, то должен креститься в православную веру и что иначе отдать за него царевну нельзя, невозможно. Для лиц не столь близких к царю и незнакомых с обстоятельствами дела все казалось ясным: приехал, окрестят его — и обвенчается он с царевной. Людям, посвященным в дело, было нечто известно, нечто, по-видимому, очень важное, но и они все же отлично понимали, что иначе быть не может: королевич должен креститься.

Встреча датскому королевичу Вольдемару была приготовлена в Грановитой палате. Холодное, но ясное январское солнце врывалось в небольшие окна и озаряло сводчатую обширную палату, причудливо расписанную пестрыми узорами и полную своеобразной красоты. Царь Михаил Федорович, окруженный ближними боярами, в сопровождении думного дьяка, медленно вошел в открытые рындами<sup>[3]</sup> двери, тяжелой поступью, пройдя палату, поднялся по устланном красным сукном ступеням и с видимым удовольствием поместился на своем царском месте.

Кто не видал Михаила Федоровича несколько лет, тот нашел бы в нем весьма большую перемену. В настоящее время, несмотря на свои далеко еще не старые годы, он сильно постарел, располнел и обрюзг. Красивое лицо его как бы отекло и поражало прозрачной бледностью. Все движения были вялы, и когда он говорил, то часто останавливался, чтобы перевести дыхание. Среди разговора он иногда вдруг задумывался, и тогда в глазах его читалась скорбь.

Человек мягкий и сердечный, горячо любивший детей своих, Михаил Федорович в 1639 году в течение трех месяцев потерял двоих сыновей, царевичей Ивана и Василия. Он не мог справиться с таким неожиданным горем, и с этого времени окружавшие стали замечать в нем все усиливающуюся не только душевную, но и телесную усталость. От юности мало подвижный, склонный к сидячей жизни, он теперь почти совсем отказался от движения, всегда сидел, много лежал. Отсюда излишняя полнота, вялость, затруднение дыхания. Доктор

Венделин Сибелиста не раз доказывал царю, что сидячая жизнь для него крайне опасна и может значительно сократить жизнь его; но Михаил Федорович, спокойно выслушивая врача, все же решительно отказывался следовать его советам и даже часто совсем не принимал составляемые им лекарства, во всем полагаясь на волю Божию.

На этот раз царь, однако, находился в самом веселом настроении духа, глаза его минутами начинали сиять прежним блеском, во всех чертах лица замечалось оживление. Дело в том, что это был день исполнения его заветного желания. Королевич Вольдемар здесь в качестве жениха царевны Ирины. То, что еще так недавно представлялось неисполнимым, от чего уже совсем приходилось отказаться, совершилось.

Когда все собравшиеся в Грановитой палате разместились по своим местам, наступило несколько минут полной тишины и ожидания. Взгляды всех обратились к дверям. Боярин князь Львов, человек осанистый и важный, мягкий в походке и движениях, с поклоном подошел к красивому отроку, царевичу Алексею Михайловичу. Тот поднялся со своего места, последовал за князем, и оба остановились посреди палаты, у столпа.

Между рындами, стоявшими по обеим сторонам дверей произошло некоторое, едва уловимое движение, и двери медленно, бесшумно стали отворяться.

Спокойное достоинство, с которым вошел королевич Вольдемар, сопровождаемый несколькими лицами своей свиты, показывало, что он отлично владеет собою и что, несмотря на юные его годы, его нелегко заставить смутиться и растеряться. Хорошего среднего роста, стройный, широкоплечий, в богатом, темного бархата костюме, не скрывавшем, а, напротив, выказывавшем крепкие и красивые формы его тела, он производил впечатление здоровья, свежести и энергии. Это впечатление еще усиливалось при взгляде на его молодое лицо с блестящими глазами и смелым, веселым выражением.

Пройдя несколько шагов по палате, он остановился, увидя двинувшегося ему навстречу князя Львова, рядом с которым был царевич. Князь Львов, подойдя к новоприбывшему, низко ему поклонился и, взяв за руку царевича, «явил» его гостю. Царевич спросил Вольдемара о здоровье, и, пока толмач переводил, они обменялись ласковыми улыбками и затем в сопровождении князя Львова направились к государеву месту.

Теперь князь Львов должен был «явить» королевича царю, и, когда это было исполнено, Михаил Федорович поднялся, сошел со своего места, подал королевичу руку и также спросил его о здоровье. При этом царь пристально и бесцеремонно всматривался в гостя. Осмотр этот, очевидно, удовлетворил его: королевич, со времени своего пребывания в Москве два года назад, возмужал, окреп и представлял собой уже не юношу, а вполне сформировавшегося человека. И этот человек пришелся царю еще больше по нраву, чем прежний юноша.

«Слава тебе, Господи!» — мысленно сказал царь, с облегчением вздохнув всей грудью.

Что думал и чувствовал королевич, трудно было решить, глядя на его свежее лицо, по которому быстро скользнула и тотчас же исчезла добродушная усмешка; одно можно было утверждать, что он не смутился под пристальным взглядом великого государя, что он, вероятно, так же смело, как на царя, глядел и на свою будущность в этой чуждой, неведомой стране, где все должно было ему казаться

необычным и диким. Когда толмач перевел ему слова царя, он поклонился, поблагодарил и передал поклон от короля, отца своего, государю и царевичу.

Вольдемара посадили с почетом близ царского места, и тогда датские послы, приехавшие с королевичем, Пассбург и Биллей, стали говорить речь. Речь эту толмач перевел такими словами: «Его королевское величество, во имя св. Троицы, послал своего любительного сына Вольдемара-Христиана, графа Шлезвиг-Голштинского, к его царскому величеству, чтоб ему, по царского величества хотению и прошению, закон принять<sup>[4]</sup> с царского величества дочерью Ириною Михайловною. Король просит, чтоб его царское величество изволил для большей верности и укрепления договора о сватанье крестным целованием при его королевских послах укрепить и письмо дать; также принять и почитать королевского сына как своего сына и зятя, а король накрепко наказал сыну своему царское величество как отца почитать, достойную честь и службу воздавать».

Когда слова эти были выслушаны, поднялся думный дьяк Григорий Львов и ответил от имени царя:

— Желаем, чтоб всеильный Бог великое и доброначатое Дело к доброму свершению привел; хотим с братом нашим, его королевским величеством, быть в крепкой дружбе и любви, а королевича Вольдемара Христианусовича хотим иметь в ближнем присвоении, добром приятельстве и почитать, достойную честь ему воздавать, как есть своему государскому сыну и зятю.

Датским послам, по наказу царскому, объявили, что сих днях они будут «в ответе»<sup>[5]</sup> с боярами и дьяками, пока же они получили приглашение вместе с королевичем к обеденному царскому столу, до которого оставалось уж немного времени.

## VI

Пир был задан гостям на славу. Царь распорядился, чтобы всего было вдосталь, чтобы иноземцы царского угощения во всю жизнь не забыли, и князь Львов, главный распорядитель, на это отвечал:

— Небось, государь, в грязь лицом не ударим, долго немцы будут облизываться, ведь они там у себя, в датской земле, видно, не очень-то сладко едят, народ ишь какой сухой да поджарый...

Часа четыре за столом сидели, до двадцати перемен одних «тельных»<sup>[6]</sup> подавалось. Проворные молодцы то и дело в чарки подливали меда старые да вина фряжские искрометные. Под конец гости перестали чиниться, осушали чарку за чаркой и загалдели. О чем они галдели, того никто, кроме толмача, понять не мог, да и сам толмач вряд ли разбирал что-либо: он сидел, покачиваясь из стороны в сторону, весь красный, с бессмысленно вытаращенными глазами, и только ухмылялся.

Шумело в голове и у королевича, только был он крепок, и ни меда, ни вина фряжские не могли заглушить в нем мысли и чувств, вызывавшихся новой обстановкой, среди которой он находился. Королевич любил попить и за чаркой вина становился особенно веселым, оживленным, общительным. На этот раз, однако, чем больше он пил, тем делался молчаливее и задумчивее. На него напала тоска, сердце начинало щемить, и несколько раз он вздохнул глубоко.

К добру ли принял он свое смелое решение, на счастье ли покинул родину, стал добровольным изгнанником, осужденным всю жизнь прожить в стране далекой, чуждой, где все, хоть он уже и пробыл здесь некоторое время два года тому назад, кажется ему таким странным и диким?!

Действительно ли не было для него лучшего выбора, действительно ли необходимо было покинуть родину, которая вот теперь, когда все уже кончено навсегда и бесповоротно, является воспоминанию такой милой, дорогой и любимой?...

В душной атмосфере низкосводчатой палаты с жарко натопленными изразцовыми печами, с маленькими и узкими, совсем заледеневшими окнами, среди нестройного говора хмелевших

собеседников, под звон и стук приносимой и уносимой посуды королевич перенесся в замок отца своего, короля Христиана IV. Вся оставленная им жизнь сразу вернула к себе и охватила его, будто в одно мгновение пережилась снова.

Она не была усыпана розами, эта жизнь. С первых лет отрочества пришлось переживать Вольдемару тяжелые впечатления. Он видел вокруг себя гораздо больше горьких слез, чем счастливых улыбок. Король Дании, Христиан IV, был человек сурового нрава, энергичный и смелый, порывистый и страстный, способный на неожиданные, быстрые и бесповоротные решения. Честолюбие и властолюбие оказывались его первенствующими страстями, и ради удовлетворения этих страстей ему пришлось бороться всю жизнь.

Вступив на престол Дании, он увидел себя в положении довольно шатком и решил во что бы то ни стало выйти из этого положения, укрепить власть за собою и своим потомством и, насколько возможно, расширить ее пределы.

С большим трудом он выхлопотал в Вене императорский патент, устанавливающий в его владениях наследственность королевской власти. Но, несмотря на все его усилия, этот патент получил значение только в Шлезвиг-Голштинских его владениях, в Дании же на него не обращали внимания.

Постоянные споры и ссоры с Германией и Швецией принудили короля, ради крепости своего положения, угождать датским вельможам, скрепя сердце делать им всякие побряжки.

Эти постоянные мелочные заботы не давали ему возможности серьезно заниматься внутренними преобразованиями, и, таким образом, его царствование, несмотря на все добрые желанья и разумные мысли короля, часто приходившие ему в голову, принесло не слишком много пользы государству. Он не снискал особенной любви своих подданных. Многие его боялись, и искренно преданных ему людей насчитывалось мало.

У короля Христиана была еще одна страсть, оставившая яркие следы на всей его жизни, — он очень любил женщин. Его брак с королевой Катериной не был счастлив: супруги не сошлись характерами. Король с каждым годом все более и более охладевал к королеве и, задолго до ее кончины почувствовал страстную любовь к

молоденькой, красивой дочери ютландского дворянина, Христине Мунк. Эта страсть была взаимной.

Юная Христина без ума влюбилась в короля и, хотя и была воспитана в самых строгих правилах нравственности, даже не нашла в себе силы бороться со своей любовью. Несмотря на все меры, принимавшиеся ее ближайшими родственниками для того, чтобы отдалить ее от короля, она оставалась непоколебимой; препятствия только еще более разжигали ее страсть. Она обманывала самый строгий надзор, и скоро ее сближение с королем было тайной только для королевы, которая, кажется, так и умерла, не подозревая об измене мужа.

Меньше чем через год после кончины королевы Христиан IV вступил в морганатический брак<sup>[7]</sup> с Христиной Мунк, причем ей был дан титул графини Шлезвиг-Голштинской.

Началась самая блестящая пора жизни Христины. Она являлась олицетворением счастья и производила на всех придворных чарующее впечатление. Красивая, добрая, ласковая, всегда готовая услужить каждому своим влиянием, она мало-помалу начинала играть очень большую роль. Она имела значительное влияние на все дела, часто совсем овладевала волей короля и направляла ее по своему усмотрению.

Так прошло несколько лет, и второй брак Христиана казался самым счастливым браком. Королевская семья росла с каждым годом: у короля и Христины родилось двое сыновей и восемь дочерей, и король, несмотря на свою порывистость и подчас суровость, оказался очень нежным отцом. Но особенно любил он своего сына Вольдемара, графа Шлезвиг-Голштинского.

Счастье убаюкивает, затуманивает, затуманило и убаюкало оно и Христину. Она получила над королем такое исключительное влияние именно благодаря тому, что изучила его характер и обдумывала свои действия. Она очень хорошо понимала в первые годы, что можно и чего нельзя, знала, какими способами действовать на короля и в какие минуты.

Но вот мало-помалу, уверенная в своей силе, освоившаяся с нею, она позабыла всякое благоразумие, сочла короля своим неотъемлемым достоянием, которым могла распоряжаться произвольно. Сама того не замечая, теперь она становилась чересчур требовательна, стесняла



свободу действий мужа, являлась постоянным, неустанным контролером его жизни.

Сначала, в первые годы своего семейного счастья, он не замечал этого, а если и замечал, то, полный страстью, даже, может быть, находил наслаждение в том, что всюду и во всем видел Христину, что сталкивался с нею во все минуты своей жизни. Однако горячая страсть, естественно, заменилась более спокойным чувством, и стеснительность ревнивой женой охраны становилась для короля все ощутительнее; в нем начинала говорить его врожденная самостоятельность. Он начинал все более и более жаждать простора и свободы.

Чувство его к жене было очень сильно, и, если бы теперь Христина поняла свою ошибку, она, вероятно, навсегда сохранила бы любовь мужа; но понять свою ошибку она уже не была в состоянии, и, по мере того как король начинал освобождаться от рабства, она силилась все крепче и крепче заковывать его в цепи.

Между супругами началась глухая борьба, доставившая много мучений обеим сторонам. Нетрудно было предвидеть, к чему приведет эта борьба. Христина не могла оказаться в ней победительницей. В прежнее время она обезоруживала мужа ласками, видимой ему покорностью, своим тихим и ровным характером, теперь, полная убеждения в своих правах не только на его исключительную любовь, но и на его жизнь, она негодовала, упрекала, требовала, раздражала короля все больше и больше.

Во время одного из бурных объяснений она вдруг заметила в первый раз, что король глядит на нее совсем иначе, чем прежде. Она увидела, что ее раздражение, упреки и жалобы остаются без ответа, король молчит, глядит на нее — и улыбается. Она не поняла еще разумом, что это значит, но сердце у нее вдруг упало, тоска вдруг охватила ее, мучительная, давящая тоска, какая находит на человека перед неотвратимым, грозящим несчастьем. Такая тоска не могла обмануть — несчастье уже свершилось. Христина достигла единственного, чего могла достичь своим образом действий, — король почувствовал к ней полное охлаждение.

## VII

То, что представлялось королю томлением и несчастьем, от которых некуда было скрыться, — эти все возраставшие нелады с женою вдруг в один миг как бы забылись им. Приближенные сразу заметили в нем большую перемену: стихла его раздражительность, изменился его мрачный, суровый вид. В лице его, после долгого отсутствия, снова появилось веселое выражение. Давно, давно никто не слышал его смеха, — теперь он опять смеется!

Придворная жизнь, в последнее время сделавшаяся такой мертвенной и унылой, оживилась, король прилежно стал заниматься делами и в то же время желал развлечений.

В королевском замке начались праздники за праздниками. Замечали, что графиня Шлезвиг-Голштинская, по мере того как король становился веселее и общительнее, делается мрачнее и мрачнее.

Иной раз она появлялась во время придворных празднеств только на мгновение и незаметно удалялась в свои апартаменты. Иногда ее вовсе не было, но ее отсутствие нисколько не нарушало общего оживления и веселья. Тень уныния, которая следовала теперь за Христиной, удручающе действовала на окружавших; Христина уходила и уводила за собой эту тень.

На придворном горизонте появились новые светила; несколько молодых красавиц обратили на себя внимание короля, и скоро все увидели, что одна из них, Луиза Вибекке, окончательно победила его сердце. Он нисколько не скрывал этого, и фавор Вибекке быстро сделался совершившимся, общеизвестным фактом.

На этот раз случилось совсем не то, что было в то время, когда Христиан влюбился в Христину Мунк. Тогда покойная королева ничего не подозревала о том, что давно было известно, — теперь графиня Шлезвиг-Голштинская одна из первых узнала о любви короля к Вибекке.

Примириться с действительностью она не могла, она заявила свои права, стала подвергать короля сценам самой несдержанной ревности, не могла владеть собою даже перед своими малолетними детьми.

В королевской семье начался настоящий ад, и все это кончилось тем, что, доведенный до последнего, возненавидевший жену, Христиан решился на развод с графиней. Христина, против ее воли, перевезена была в один из дальних охотничьих королевских замков, и там она очутилась вместе с детьми под арестом.

Между тем дело о разводе шло и наконец кончилось в пользу графини — суд не признал ее виновной перед королем. Однако это было плохим для нее утешением, — потеряв любовь короля, она потеряла все. Теперь у него к ней не было никакой жалости. Он считал ее, совершенно искренно, своим злейшим врагом, а с врагами он не церемонился.

Графиня Шлезвиг-Голштинская была лишена возможности выезжать из назначенного для ее жительства замка, над ней был учрежден строгий надзор, но ее ожидало и еще новое бедствие. Король стал тосковать по своим детям. Сначала он признавал за Христиной все права матери, он вовсе не желал разлучать ее с детьми, да, наконец, в первое время, увлеченный своей капризной страстью к Луизе Вибекке, он и не думал о детях. Но капризная страсть быстро охладела — король уже не был способен на серьезную привязанность, он слишком искренно и слишком долго любил Христину, теперь же для него возможно было только непродолжительное увлечение — он развлекался. Эти увлечения и развлечения не могли удовлетворить его сердца, ему нужны были более глубокие сердечные радости — и он затосковал по своим детям.

Дети, один за другим, были переселены в королевский замок. Время от времени их возили на свидание с матерью, но и эти свидания становились все реже и реже: дети, подрастая, охлаждались к Христине. В королевском замке им было хорошо и привольно, об их воспитании король очень серьезно заботился. Каждую свободную минуту он посвящал детям, и, несмотря на то, что бывал иногда строг с ними и раздражителен, он искупал эту строгость и раздражительность порывами таких горячих ласк, что дети хотя и побаивались его, но все же горячо любили. На них не могла тоже не действовать та всеобщая почтительность, которой он был предметом. Между тем, отправляясь на свидание с матерью, они испытывали совсем иное впечатление: их встречала унылая, озлобленная, не примирившаяся со своей участью женщина, женщина ревнивая,

готовая возненавидеть своих детей за то, что они с отцом, за то, что они любят отца больше, чем ее...

Таковы были впечатления, на которых вырос и созрел Вольдемар, граф Шлезвиг-Голштинский. Его природа оказалась глубже природы его брата и сестер, он сильнее их воспринимал все эти тяжелые впечатления и, придя в сознательный возраст, проводил немало горьких часов.

Он все чаще испытывал такое ощущение, будто ему мало воздуха в родном доме, и хотелось ему уйти куда-нибудь дальше, начать совсем новую жизнь. Ему казалось, что чем дальше будет он от дома, тем жизнь его станет счастливей, тем вольнее будет ему дышаться.

## VIII

Как раз в то время, в конце 1640 года, в Копенгаген явился из Московии некий муж, проживший весьма долгие годы в русском государстве. Этот муж, по имени Иоган Томас, а по нашим документам Иван Фомин, иностранец, приехал в Копенгаген не по своим делам, а гонцом от царя московского.

Появление его для короля Христиана не было неожиданностью, так как Петр Марселис, посланный в Москву Христианом для разных дел, несколько месяцев тому назад, возвратясь в Данию, докладывал королю следующее: призвали его в посольский приказ и там бояре русские допрашивали во всех подробностях — сколько у короля Христиана детей и каких они лет. Марселис боярам ответил, ничего не утая, что у короля датского два сына от первой жены, королевы Катерины. Старший, наследник престола датского, женат, другой собирается жениться, но есть еще третий сын, Вольдемар, от второго, законного же королевского брака, но только морганатического, что принцу этому двадцать два года, и хотя король не живет с его матерью за то, что она на него злоумышляла, но сына крепко любит.

Петр Марселис добавлял, что, очевидно, царь московский желает выдать за принца Вольдемара свою старшую дочь.

Король, услыша это, задумался. Если бы могло статься так, как того желало его сердце, он не отпустил бы своего любимца, Вольдемара, из Дании, он сделал бы его своим наследником с уверенностью, что из него выйдет достойный ему преемник. Но об этом нечего и думать — престол датский, после его смерти, должен перейти к его старшему сыну от первого брака. Хотя сын этот и не так любим отцом, как Вольдемар, но все же, во всяком случае, нет никаких причин отстранить его от престола, да и невозможно это по тем самым законам, о закреплении которых король всю жизнь так заботился.

Теперь Вольдемару хорошо и спокойно живется, но умрет отец — и что его ожидает? Старшие братья его не особенно любят, быть может, ему предстоят всякие беды, да и не только беды, но, пожалуй, и опасности. Вольдемар — юноша смелого, предприимчивого нрава, Московия — страна далекая и дикая, но вот в последнее время оттуда

получаются все более и более интересные сведения... Приезжие из Московии рассказывают чудеса об обширности этого восточного государства, о богатстве царей московских. Если Вольдемар женится на дочери царя и если царь при этом выговорит ему всякие выгоды, то он, наверно, в этой полуварварской стране окажется первым лицом, получит главнейшее влияние на все дела и, как знать, быть может, окажется на престоле своего тестя...

Одним словом, эта мысль очень заинтересовала Христиана, и он все чаще и чаще стал к ней возвращаться. Его, конечно, смущала необходимость разлуки с любимым сыном, но он любил его не эгоистической любовью, он думал прежде всего о его счастье.

Таким образом, появление Ивана Фомина, иностранца, доставило королю немало удовольствия, только он решил с этим делом не торопиться и действовать осторожно.

Иван Фомин был ласково принят в королевском замке. Его спросили о причине его приезда, и он ответил, что послан с жалобой на герцога Голштинского, который не исполняет условий договора относительно персидской торговли.

Ему обещали все устроить и потом спрашивали: нет ли у него какого-нибудь еще иного поручения? — но Иван Фомин уверял, что другого поручения ему не дано.

Между тем жалоба на герцога Голштинского была только предлогом — Ивану Фомину в посольском приказе было велено, по приезде в Копенгаген, «проведывать подлинно, тайным обычаем, сколько у короля детей от венчальных, прямых жен, от королев, и сколько не от прямых, но все же действительных жен и в каких чинах у него эти дети? Проведать допряма про королевича Волмера (Вольдемара) сколько ему лет, каков собою: возрастом, станом, лицом глазами, волосами, где живет, каким наукам, грамотам, языкам обучен? Каков умом и обычаем, и нет ли в нем какой болезни или увечья, и не сговорен ли где жениться, чья дочь его мать, жива ли и как живет? Промышлять, чтоб королевича Волмера видеть ему самому и персону его написать подлинно на лист или доску без приписи, прямо, промышлять это, подкупя писца (то есть живописца), хотя бы для этого в датской земле и помешкать неделю или две, прикинув на себя болезнь, только бы непременно проведать все допряма, во что бы то ни

стало, давать не жалея, а для прилики, чтобы не догадались, велеть написать персоны самого короля Христиана и других сыновей его».

Хитрый иностранец Иван Фомин весь этот наказ исполнил, но хитрость его не совсем удалась. Когда он, найдя подходящего «писца», подкупил его, чтобы писать персоны королевских сыновей, об этом тотчас проведали, и Иван Фомин приглашен был к первому советнику короля Христиана, Улефельдту, который сразу спросил его:

— Дошел до меня слух, что ты подкупил живописца и заказал ему тайно написать схожие портреты короля и королевичей, правда ли это?

Иван Фомин растерялся, забегал глазами во все стороны и приготовился отпираться, когда Улефельдт строго перебил его:

— Если я говорю: «дошел слух», то, значит, этот слух верен, отпираться тебе нечего. Ты хорошо должен знать, что затеял невозможное дело. Как же это тайно писать портреты и чтобы они были схожи? Живописец, польстясь на твои деньги, мог обещать тебе что хочешь, но если он будет писать портреты тайно, то никакого сходства в них с королем и королевичами не окажется. Он должен работать, имея перед собою тех, с кого пишет портрет, — только в таком случае будет сходство.

На это Ивану Фомину возражать было нечего, и он молча стоял пред датским сановником, ожидая, что тот дальше говорить будет.

Улефельдт, видя его смущение, улыбнулся и продолжал.

— Успокойся, ничего преступного в твоём действии мы не видим, видим одну только несообразительность. Его королевское величество, когда узнал об этом, засмеялся и дал свое соизволение написать хорошие портреты с себя и с королевичей с тем, чтобы послать их вашему государю. Только скажи ты мне, пожалуйста, зачем это вашему государю понадобились портреты?

Фомин опустил голову и развел руками.

— Мысли государевы в руках Божьих, — ответил он, — мне же они неизвестны.

Улефельдт не стал настаивать и отпустил московского гонца успокоенным и довольным.

В тот же день к Фомину явился королевский секретарь с тем же вопросом: зачем нужны государю московскому портреты короля и королевичей?

Так как и перед секретарем Фомин отговорился неведением и в дальнейшем разговоре не заикнулся о королевиче Вольдемаре, секретарь сам сказал ему:

— Если вашему государю королевич Вольдемар нужен для воинского дела, то король отпустит его к царскому величеству.

Фомин ответил, что передаст это своему государю, и, получив обещание относительно присылки на Москву портретов, с легким сердцем выехал из Копенгагена.

Возвратясь, он докладывал в посольском приказе подробно обо всем, что с ним было, и подал записку, в которой значилось: «Королевич Волмер лет двадцати, волосом рус, ростом не мал, собою тонок, глаза серые, хорош, пригож лицом, здоров и разумен, умеет полатыни, по-французски, по-итальянски, знает немецкий верхний язык, искусен в воинском деле: сам он, Фомин, видел, как королевич пушку к цели приводил. Мать его, Христина, больна, отец ее был боярин и рыцарь большой, именем Лудвиг Мунк, и мать ее также боярыня большого родства».



## IX

По отъезде Ивана Фомина король имел продолжительное объяснение с сыном. Он передал Вольдемару все свои мечты и планы относительно его будущности и не без сердечного замирания ждал, что ему на это ответит сын. Ведь он мог сказать ему: «Отец, где же твоя любовь ко мне, если ты хочешь удалить меня от себя, ото всего, что мне близко и дорого, если ты посылаешь меня в неведомую темную даль, полную всякого тумана, за которым могут скрываться беды, опасность и погибель?!»

Конечно, на такие слова король мог объяснить ему, что еще большие беды, опасности и погибель грозят ему здесь, на родине; но что возразил бы он ему, если бы юноша сказал, что всякая погибель не так страшна у себя дома, среди своих?

Однако никакого спора, никакого разногласия не произошло между отцом и сыном.

Король сразу увидел, что Вольдемар увлечен его планом даже больше, чем он сам. Возможность новой жизни в далекой стране оказалась для него заманчивой. Даль и неизвестность не могли устрашать, а только восхищали смелого юношу. Оставался один вопрос...

«Если королевич нужен царю московскому для воинского дела — король его отпустит», — сказал королевский секретарь Фомину. Но ведь всем было хорошо известно, что королевич нужен владыке восточной полуварварской страны не для воинского дела, а для того, чтобы с ним породниться, чтобы выдать за него свою дочь, — и вот Вольдемар говорил отцу:

— Да, я поеду, с удовольствием поеду, но царевна московская должна мне понравиться. Если она нелюбезна, некрасива, если она покажется мне каким-нибудь чудовищем, как я свяжу с нею мою жизнь? Отец мой, я не могу этого!

Король, нежно глядя на своего любимца, потрепал его по плечу:

— Глупый мальчик, — сказал он, — разве стану я принуждать тебя жениться на чудовище! Как царь московский не выказывает прямо своего желания, а хочет сначала узнать про тебя все, видеть твой

портрет, а затем, конечно, пожелает видеть и тебя самого, поближе познакомиться с тобою, так точно и я — о тебе уж и не говорю — должен хорошенько узнать, какова его дочь. Я вовсе не требую от тебя твоего согласия на брак с московской царевной, я хочу узнать, желаешь ли ты, в звании моего посла, съездить в Московию? Вот пока все, о чем я тебя спрашиваю. Разговор об остальном может быть только по твоём возвращении из путешествия.

— Если так, — весело воскликнул Вольдемар, — я отвечаю: да; да и да! Я очень рад этому путешествию. Ты знаешь, отец, как я люблю путешествовать!

Таким образом, оставалось только найти предлог для отправки посольства в Московию.

Так как в Дании все еще ходили самые преувеличенные рассказы о суровости московского климата, то и решено было дожидаться летнего тепла, чтобы совершить путешествие быстрее и с большими удобствами.

В Московию своевременно послали извещение, что к царю едет из Дании особое посольство: в послах королевич Вольдемар, граф Шлезвиг-Голштинский, вторым же послом назначен Краббе.

По получении этого известия царь Михаил Федорович распорядился, чтобы датскому посольству всюду были оказываемы особые почести. Немедленно же были посланы гонцы во все города, через которые посольство должно было проезжать: приказано было воеводам спешить навстречу графу Вольдемару и челом ему бить усердно. В Москве, ко дню приезда посольства, тоже было все приготовлено в лучшем виде. Послам назначили помещение в Китай-городе, на дворе думного дьяка Ивана Грамотина, и царским приказом велено: «Отводимые гостям палаты, а также поварню, все хоромы и конюшни осмотреть, вычистить, худые места починить, столы, скамьи и окончины поставить, навоз и щепы со двора свозить и посыпать на дворе песком».

У средней палаты двери были железные, а моста перед нею и всходу не было, так велено было сделать мост с перилами и лестницу; колодец вычистить. Во второй палате, даже в покоевой задней деревянной горнице лавки и скамьи были убраны сукнами червчатыми. Далее, в тех же палатах и горнице, где стоял граф

Вольдемар, один стол покрыт был ковром, а три сукнами червчатыми багрецовыми.

Приставам было сказано: «Вы бы рассмотрели всякими мерами подлинно и у дворян и посольских людей в разговорах тайно разведали, как графа Вольдемара посол Краббе и посольские люди почитают: государским ли обычаем или рядовым обычаем?»

По приезде посольства пристава немедленно донесли, что Краббе перед графом по временам снимает шляпу, по дороге едучи, но говорит с ним иной раз и в шляпе; за обедом сидит с ним вместе. «Думные же и бояре» графа почитают, говорят с ним все снявши шляпы и в разговоре с ним называют его королевичем, а не послом и во всем его почитают государским обычаем.

Получив такой ответ, царь с думными боярами совещался о том, как же принять королевича: со всеми почестями, принадлежащими его сану, или как обыкновенного посла?

Решено было принять обыкновенным образом, так как в королевской грамоте королевич значился не королевичем, а послом.

С первого же дня появления Вольдемара в Москве начались всякие недоразумения и неприятности. Когда он отправился представляться царю, то его попросили снять шпагу.<sup>[8]</sup> На это он возразил, что шпагу снять не может, так как это было бы для него позорно. Но на его доказательства московские бояре не обратили внимания и стояли на своем, не допуская его до государя.

Королевич был поставлен в безвыходное положение: нельзя же было возвращаться в Данию, не представившись даже царю, — это ведь тоже было бы позорно и затем грозило нескончаемой враждою между двумя государствами. Пришлось покориться иноземному обычаю и снять шпагу. Впрочем, царь Михаил Федорович, приветствуя королевича, имел такой добродушный, привлекательный вид, так ласково к нему отнесся, что Вольдемар сразу вышел из мрачного настроения, в какое повергла его история со шпагой.

Правда, и во время царской аудиенции не все было совсем гладко: уж слишком бесцеремонно как сам царь, так и его приближенные разглядывали королевича, и это бесцеремонное разглядывание не могло не покоробить юношу, родившегося и воспитанного среди более цивилизованного общества. Но он, по счастью, сообразил, что ведь он не в Вене у императора, что он и ехал сюда, представляя себе Московию полуварварской страной.

К тому же результат разглядывания королевича был, очевидно, в его пользу. От него не стали скрывать произведенного им впечатления, а самолюбивый юноша, видящий, что он понравился, станет ли сердиться?

Вольдемару и Краббе было тотчас же назначено «быть в ответе с боярами» и изложить причину, побудившую короля датского прислать посольство.

Вольдемар от имени короля потребовал вольной торговли для датских купцов по всему московскому государству.

Вопрос этот был решен в утвердительном смысле, хотя и с некоторым ограничением.

Затем королевич просил позволения датчанам строить дворы и церкви. На это ему ответили, что в Москве уже есть у датских купцов свой двор, а в Новгороде, Пскове и Архангельске пусть они купят дворы или построят новые на посаде. Что же касается церквей, ответили сразу и единогласно: «Киркам не быть». На этом бояре стояли твердо и отказались от всяких дальнейших разговоров по этому предмету.

Затем пошли уже вопросы второстепенные и после всестороннего обсуждения были решены более или менее удовлетворительно.

Наконец, переговорив обо всем, собрались писать грамоты «на докончание»,<sup>[9]</sup> но тут, как и прежде случалось весьма часто в подобных обстоятельствах, оказалась беда. Вольдемар настаивал, чтобы в датской грамоте королевское имя стояло перед царским именем. На это бояре не согласились и выказали такое же упрямство, как и по вопросу о кирках.

Напрасно в течение нескольких дней Вольдемар, Краббе и все члены датского посольства доказывали боярам, что в их желании нет ровно ничего обидного для царского величества: как естественно со стороны бояр ставить в своих грамотах имя своего государя перед именем чужеземного, так точно и датчане в своей грамоте не могут поставить имя своего государя на втором месте. Бояре никаких доказательств не слушали, только обижались, только мрачно повторяли, пощипывая себе бороды: «Этому делу не бывать».

И пришлось королевичу с посольством уехать из Москвы, ровно ничего не добившись, ничего не разузнав. Главное же, что сердило Вольдемара, он не только не увидел никакой царевны, но не разглядел даже ни одной московской женщины.

Во время его прогулок по городу ему попадались только совсем неинтересные фигуры старух. Правда, иной раз мимо него прокатывались какие-то безобразные рыдваны, и в этих рыдванах помещалось что-то таинственное, но что именно, того никак нельзя было разобрать, так оно было закутано ревнивой фатой.

Потом Московия представлялась королевичу страной упрямых, непонятливых бородачей в высочайших шапках и парчовых кафтанах, страной, где люди живут в тесных помещениях, много едят, много пьют и где совсем нет женщин. Такая страна не могла понравиться

юноше, и он возвращался в Копенгаген с сознанием разбитых грез, в глубоком разочаровании.

В Москве, однако, вовсе не думали разочаровываться или покидать мысль о женитьбе королевича на царевне Ирине. Уж очень этого хотелось царю: он считал, во всех отношениях, крайне важным родство русского царствующего дома с семьями иноземных государей. Эту мысль он наследовал еще от своего отца, патриарха Филарета, который его самого, после печальной истории с Марьей Ивановной Хлоповой, непременно хотел женить на иноземной принцессе.

Царь хорошо помнил все обстоятельства этого времени своей юности.

Как теперь, так и тогда выбор прежде всего остановился на Дании.

В 1621 году из Москвы были отправлены патриархом Филаретом в Данию князь Львов и дьяк Шипов с таким предложением королю: «По милости Божьей великий государь приходит в лета мужеского возраста, и время ему, государю, приспело сочетаться законным браком, а ведомо его царскому величеству, что у королевского величества есть две девицы, родные племянницы, и для того великий государь его королевскому величеству любительно объявляет: если королевское величество захочет с великим государем царем быть в братстве, дружбе, любви, соединении и приятельстве навеки, то его королевское величество дал бы за великого государя племянницу свою, которая к тому великому делу годна».

Вместе с этим послам был дан устный приказ: «Если в Дании станут говорить, что королевская племянница перейдет ради своего супруга в русскую веру, но что креститься ей в другой раз непригоже, так как она и без того крещена по своему закону в христианскую веру, то следует отвечать: «Королевской племяннице в другой раз не креститься никак нельзя, потому что у нас со всеми верами рознь немалая: у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают... у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают... — Лютеранское крещение (как и католическое) заключается в обливании крещаемого водой, тогда как православный обряд предполагает троекратное погружение в освященную воду и

последующее таинство миропомазания,<sup>[10]</sup> так король бы свою племянницу на то наводил и отпустил ее с тем, чтобы ей принять святое крещение».

Так же и во всем остальном посланные должны были действовать с осторожностью и заранее на все иметь готовые ответы.

Они должны были стараться всем родственникам и ближним людям королевской племянницы, войдя к ним в доверие, всячески расхваливать православную веру и просить их убеждать в достоинствах этой веры невесту.

Для того чтобы дело лучше ладилось, послам было приказано не скупиться на подарки, а пуще того на обещания.

Если король будет спрашивать: дадут ли его племяннице особые города и доходы, то следовало отвечать: «Если по Божественному Писанию будут оба во плоть едины, то на что их, государей, делить? Все их государское будет общее, чего она, государыня, захочет все будет ей невозбранно: кого захочет, того, по совету и повелению супруга своего, жаловать будет, и датским людям, которые будут с нею, неволи и нужды не будет ни в чем, что с нею будут немногие люди — многим людям быть не для чего: у государя на дворе честных и старых боярынь и девиц, отеческих дочерей, много».

Наконец, на случай благополучного окончания переговоров и королевского согласия давалось послам такое наставление: «Если король согласится на все, просить позволения ударить челом племянницам и, пришедши к ним, ударить челом по обычаю учтиво об руку и поминки королеве и девицам поднести от себя по сороку соболей или что пригоже. Причем смотреть девиц издалека внимательно, какова которая возрастом, лицом, белизною глазами, волосами и во всяком прироженье и нет ли где увечья, а смотреть издалека и примечать вежливо. Если королева позовет их к руке, то идти, королеву и девиц в руку целовать, а не витаться с ними (то есть не брать их за руку). И посмотревши девиц, идти вон, после чего проведывать, которая к великому делу годна: чтобы была здорова, собою добра, не увечна и в разуме добра, и какую выберут, о той и договор с королем становить: спрашивать, сколько дадут за невестою земель и казны».

Но, несмотря на все эти рассудительные предписания, а вернее, именно благодаря им, сватовство ничем не кончилось. Король сказался



больным и не стал объясняться с князем Львовым, а тот, в свою очередь, объявил, что иначе как с королем ни о чем говорить не будет.

Потом, через два года, патриарх Филарет сделал еще одну попытку. Он послал к шведскому королю Густаву-Адольфу сватать за царя Екатерину, сестру курфюрста бранденбургского Георга, приходившегося шведскому королю шурином. Однако и тут вопрос о вере всему помешал. На требование, чтобы невеста крестилась в православную греческую веру, король ответил, что ее княжеская милость для царства не отступит от своей христианской веры, не откажется от своего душевного спасения...

С большим горем патриарх Филарет оставил мысль женить сына на иностранной принцессе. Но мысль эта не погибла. Она жила в царской семье, и вот теперь Михаил Федорович решил во что бы то ни стало породниться с Данией.

Когда ближние советники напомнили ему, что и на сей раз вопрос о вере, наверно, станет непреодолимым препятствием, он отвечал им:

— Да, дело трудное, но не будь оно трудно, так о нем и толковать было бы нечего. Обходить его надо со всякой опаской, со всякою хитростью.

Этот царский взгляд, безусловно, разделяли и советники, поэтому вопроса о вере королевича Вольдемара решено было коснуться только при последней необходимости, если же возможно, то и совсем обойти его: Бог милостив, все сделается само собою, в свое время...

Но вот королевич уехал из Москвы, и не только о вере его, но и о сватовстве не было речи. О том, под каким впечатлением он уехал, никто не думал. Царь и ближние бояре были довольны, они достигли всего, что было пока необходимо: видели королевича и он их видел.

Жених всем понравился, и никакой персоны его теперь и писать не надо. Что же касается того, что ни он не видел невесты, ни она его не видела, — об этом, конечно, никто не думал, никому и в голову не могла прийти мысль подумать об этом.

Переждали зиму и в апреле 1642 года отправили в Данию посольство. В послах были: окольный Степан Матвеевич Проестев и дьяк Иван Патрикеев. Им поручено было начать вопрос о заключении докончания, но это было только для прилики.

Они везли подарки королевичу Вольдемару, везли соболей на две тысячи рублей и имели полномочие ничего не жалеть, лишь бы совершить добром государское дело, приступить к которому было теперь признано благовременным.

Въезжая в Копенгаген, Проестев и Патрикеев никак не ждали дурного приема, а между тем их встретили далеко не ласково.

Вольдемар и Краббе вернулись крайне недовольными, и все, о чем они рассказали Христиану, раздражило короля. О докончании и он мало заботился, но он признал придирки московских бояр доказательством того, что царь передумал и не желает больше выдавать своей дочери за Вольдемара. Между тем ведь это было теперь единственным интересом в сношениях с московским государством.

Узнав о приезде русских послов, Христиан даже рассердился и отдал приказ не оказывать им никаких знаков внимания. Однако все же им была назначена у него аудиенция.

Христиан принял их в аудиенц-зале с большой торжественностью, которая сразу смутила москвичей.

Проестев и Патрикеев не без робости подошли к трону и встретили равнодушный взгляд короля. При их приближении он не переменил своей небрежной позы и только едва заметно кивнул им головою.

Они, запинаясь, по обычаю, сказали, что великий государь велел королю поклониться, про свое здоровье сказать и брата своего здоровым видеть.

Вот толмач перевел королю эти слова, конечно, король сейчас встанет и в свою очередь спросит про царское здоровье. Но король не встает, молчит, послы не знают, что им делать. Они испуганно переглянулись, побледнели, в руке у Проестева дрожит царская

грамота. Он должен подать ее королю, но может ли он подать, когда король не встает с места и молчит? Может ли он перенести такое оскорбление царского величества?

Он обеими руками ухватился за грамоту, будто боясь, что ее силой у него вырвут, и весь вспыхнул. Пусть его убьют на месте, но он не отдаст грамоты, пока король не встанет.

Нельзя же, однако, так стоять и ждать — надо говорить; и вот Проестев собрал последние силы, взглянул на Патрикеева, молчаливо прося его поддержки, и, едва ворочая языком, объявил, что он ждет исполнения обычая.

Толмач перевел. Король медленно произнес несколько слов, но, говоря, он обратился не к послам, а к своему канцлеру, и уж тот повторил слова его, глядя на послов.

Толмач перевел, что король рад слышать про здоровье своего брата, царя московского.

И Проестев и Патрикеев оба вздрогнули. Робость их и смущение прошли, голос Проестева окреп, и он с большим достоинством ответил:

— Наш великий государь про королевское здоровье спрашивал сам, никому того не поручая, и спрашивал вставши.

Услыша слова эти, король сделал нетерпеливый жест, горделиво откинув голову, и сердито спросил:

— Как наши послы были у вашего государя, то что им у вас делали?

— Когда ваши послы были у нашего государя, то государь наш у вашего королевского величества чести не умалял, а мы теперь видим тому противное! — звучным голосом произнес Проестев.

Он выпрямился и глядел прямо в глаза Христиану с таким выражением, какое могло смутить кого угодно.

Король сообразил, что действительно зашел уж слишком далеко, и вдруг встал, снял шляпу и спросил про царское здоровье.

Теперь Проестев мог уже со спокойной совестью передать королю грамоту, что он и сделал, почтительно и низко кланяясь.

Аудиенция была благополучно закончена.

Через несколько дней начались переговоры послов с канцлером, и первый вопрос опять был: кого прежде писать в грамотах? Датский канцлер прямо заявил Проестеву и Патрикееву:

— Наш король во всей Европе никакому государю своей чести не уступит и такой дорогою ценою ни у какого государя дружбы купить не хочет.

Послы тоже уступить не могли и о докончании совсем замолчали. Они прямо приступили к своему главнейшему делу, бывшему единственной действительной целью их посольства.

Проестев говорил канцлеру:

— Великий государь хочет быть с его королевским величеством в приятельстве, крепкой дружбе, любви и соединении свыше всех великих государей и для того велел его королевскому величеству объявить, что его государской дочери, царевне Ирине Михайловне, пришло время сочетаться законным браком и ведомо ему, великому государю, что у датского Христиануса короля есть добродородный и высокороденный его, короля, сын, королевич Вольдемар-Христиан, граф Шлезвиг-Голштинский. Если его королевское величество захочет быть с ним, великим государем, в братской дружбе навеки, то он бы позволил сыну своему государскую дочь взять к сочетанию законного брака.

Услыша эти слова, канцлер сразу стал любезен и ласков. Он ответил, что дело это великой важности и он о нем немедленно доложит его королевскому величеству, а пока, от себя, не может сказать ровно ничего.

Христиан очень изумился, увидя входившего канцлера с таким лицом, которое ясно говорило о том, что владелец его несет весьма радостную весть. Никакой радостной вести в настоящую минуту король не ожидал, а о послах московских забыл и думать.

Он выслушал канцлера с нескрываемым удовольствием, и снова все прежние планы относительно судьбы любимого сына зароились в голове его.

— Вот странные люди! Вот дикие люди! — повторял Христиан, в необыкновенном волнении поднимаясь с места. — Впрочем, действительно нельзя строго судить их, быть может, граф Шлезвиг-Голштинский научит их вежливому обхождению, отучит их от грубости и варварства... Надо пожалеть их. — прибавил он с довольной улыбкой. — Согласиться что ли, отдать им в учителя моего сына? Как вы об этом думаете, канцлер?

— Вопрос уже был решен, — отвечал канцлер с поклоном, — и если ваше величество не передумали, все зависит от подробностей...

— Поручаю вам расспросить этих московских медведей обстоятельно и тотчас же доложить мне все подробно.

Так как вместе с Проестевым и Патрикеевым был послан и Иван Фомин, иностранец, в качестве человека бывалого, знающего языки и уже ведомого королевичу Вольдемару, переговоры могли идти быстрее и успешнее.

Первым делом Фомин отправился к королевичу и уже теперь, ничего не скрывая, объявил ему все и представил себя в его распоряжение. В случае же, если сватовство окажется удачным, Фомин предложил Вольдемару обучать его русскому языку, без знания которого жить в московском государстве ему будет не только трудно, но и совсем невозможно.

— Русские люди, начиная с самого царя, никаких языков не знают...

При этом Фомин предупредил королевича, что язык московитов весьма труден и что он обучился ему только через десять лет.

На это Вольдемар сказал, смеясь, что ко всяким языкам у него, слава Богу, большие способности, обучается он им легко и быстро. Как ни труден язык московитов, но и его он надеется одолеть, только пока о занятиях его этим языком нечего и думать, — понапрасну он учиться не станет и вообще не поедет в Москву, пока не узнает доподлинно, на ком его женить хотят.

— Ведь вот ты, почтенный Томас, как приезжал сюда гонцом, с меня даже тайно писать портрет подговаривал живописца, — весело продолжал Вольдемар, — значит, там у вас, в Москве, непременно хотели знать, каков я собою, оба ли у меня глаза целы и все ли на своем месте. Так посуди сам, могу ли я не интересоваться, кого мне в жены прочат? Был я в Москве, не знаю — видела ли меня в какую-нибудь щелку ваша царевна, только ведь я-то ее не видал. Покажи мне ее портрет, расскажи, по совести, какова она, тогда и за уроки московитского языка я готов, пожалуй, с тобою приняться, конечно, коли царевна мне понравится.

Иван Фомин, иностранец, веселого вида толстяк с бледными глазами навывкате, соорудил весьма забавное лицо и развел руками.

— Ваша милость задаете мне неисполнимую задачу, — произнес он, — не только не могу я вам показать портрета царевны, но не могу и сказать, какова она, по той простой причине, что сам никогда ее не видал.

— Очень жаль, — перебил его Вольдемар, — ты легко мог бы догадаться, что я тебя стану о ней спрашивать.

— Догадаться было нетрудно, ваша милость, да ничего из моей догадки не могло выйти — царевны не видал никто, кроме ее семьи, ближайших родственников и слуг.

— Что ты мне сказки рассказываешь. Быть того не может!

— Однако ведь вы сами, ваша милость, прожили в Москве не день и не неделю, скажите: разве видели вы хоть одну девицу благородную?

— Нет, не видал.

— Так если дочерей московских сановников нельзя видеть — царевен тем более.

— Вот так страна! Вот так обычаи! — изумился и возмутился Вольдемар.

В это время ему доложили о приезде послов.

Он принял их весьма радушно и, поговорив с ними кое о чем при посредстве Фомина, услышав и от них про действительную цель их посольства, обратился к ним с тем же требованием показать ему портрет царевны.

Он все же рассчитывал, что с Проестевым прислан ему портрет царевны, и желание его видеть волновало его все больше и больше. Но никакого портрета с послами не было прислано, и, согласно данному в Москве наказу, в котором был предвиден и этот случай, Проестев отвечал:

— У наших великих государей российских того не бывает, чтобы персоны их государских дочерей, для остерегания их государского здоровья, в чужие государства возить, да и в московском государстве очей государыни царевны, кроме самых ближних бояр, другие бояре и всяких чинов люди не выдают.

— При чем же тут здоровье? — удивленно спросил Вольдемар Фомина, когда тот перевел ему слова эти.

— А здоровье при том, — отвечал переводчик, — что московиты питают глубокую веру в возможность колдовства и порчи. Они полагают, что злой человек, получив чей-нибудь портрет и произведя

над ним какие-нибудь магические действия, может этим погубить человека.

— Вот как! — сказал Вольдемар, удерживаясь от смеха. — Впрочем, такие верования свойственны не одним москвитам — и у нас, в Дании, наверное, найдется несколько старух, которые верят такому вздору...

Вольдемар в этот день собирался ехать в тот уединенный замок, где жила его мать, с тем чтобы пробыть с нею некоторое время. Он не стал откладывать своей поездки и уехал.

Уехал он в странном настроении. Дело, о котором он когда-то мечтал, которое потом признал несостоявшимся, так что даже забыл о нем и думать, теперь всецело наполняло его. Он чувствовал какое-то особенное волнение и никак не мог успокоиться. То обстоятельство, что ему невозможно увидеть даже и портрета невесты, было главной причиной его волнения. Он почему-то вдруг решил, что она прелестна, как ангел.

Еще недавно он боялся, что его женят на уроде, теперь же, если даже послы или Фомин объявили ему, что царевна некрасива, он бы им не поверил. Его юность и горячее воображение уже создали ему образ этой таинственной невидимки, и этот образ с каждым часом становился для него все реальнее.

Через несколько дней он уже был совершенно влюблен в этот созданный им образ, только о нем и думал.

Между тем из Копенгагена в уединенный замок графини не приходило известий. Вольдемар собрался и поехал в Копенгаген. Его ожидала весть о том, что дело расстроено. Он пришел в отчаяние: «Как? Почему?»

Дело было так.

Канцлер, по поручению короля, спросил послов, в каком положении у царя будет королевич Вольдемар? Какова будет ему честь? Какие именно города и села даст ему царь на содержание?

Послы на это ничего определенного не сказали за неимением наказа, но Проестев сделал неосторожность, прямо объявив, что королевич должен креститься в православную веру греческого закона.

На это последовал решительный отказ короля и послам дали понять, что они могут ехать, что ни о чем больше король с ними объясняться не будет.



Они получили отпуск, послали Вольдемару царский подарок, пять сороков соболей, и, грустные, собирались к отъезду, когда к ним явился граф Шлезвиг-Голштинский.

Он был задумчив и очень ласков. Через Фомина он объявил послам, что приехал благодарить их за царский подарок. Послы же, оказав королевичу все знаки почтения, с низкими поклонами просили его сесть, но он сказал:

— Когда вы, послы, сядете, так и я с вами сяду!

Послы на это с еще более низкими поклонами отвечали:

— Как ты государский сын, мы, по указу государя нашего, тебя почитаем. Тебе, по твоему достоянию, добро пожаловать сесть, и мы с тобою сядем.

Так говоря, оба посла поставили для королевича большое кресло, но он на него не сел, а взял сам первый попавшийся стул, на котором поместился. Он говорил:

— Король, мой отец, все рассказал мне о нашем деле. Мне очень грустно, что оно не может состояться, но в какой вере я родился, в такой хочу и умереть. Ничто не заставит меня переменить веру и креститься снова.

Послы думали было его уговорить, и уже дьяк Патрикеев принялся доказывать ему все преимущества православной веры, но королевич решительно сказал, поднимаясь с места и прощаясь:

— Много говорить я с вами не могу, мне это и не дозволено, да и не о чем теперь нам говорить. Во всем полагаюсь я на волю моего отца: как он решит, так и будет.

С этими словами королевич уехал.

Послы видели, что он недоволен и грустен, почти так же недоволен и грустен, как были они сами.

С тяжелым сердцем, в страхе ожидавшей их царской немилости, тронулись Проестев и Патрикеев в обратный путь из Копенгагена.

Страх послов был не напрасен. Когда они возвратились ни с чем, царь Михаил Федорович сильно разгневался — сам даже не захотел и говорить с ними, а в посольском приказе им были сказаны вины их многие.

Обвиняли их в том, что великое государское дело, для которого их посылали, они делали не по наказу.

Им говорили:

— Должны вы, послы, были радеть и промышлять всякими мерами, уговаривать и дарить кого надобно, а вы же такое наделали? Первый отказ услышали, да сейчас ж и уехали, не обославшись <sup>[11]</sup> с государем. С вами для государева дела послана была казна, соболи, слава Богу, давать было что, а вы соболей-то, видно, раздавали для своей чести, а не для государева дела. С ближними королевскими людьми говорили самыми короткими словами, что к делу не пристало, многих самых надобных дел не говорили и ближним королевским людям, во многих статьях, были безответны!..

Как ни оправдывались Проестев с Патрикеевым, как ни доказывали, что делать им было нечего, что они стояли не за свою, а за государеву честь и не могут быть в том повинны, что чести этой великой умалить не посмели, — на оправдания и доказательства их не обратили никакого внимания.

Что тут говорить — посланы были устроить дело, о котором царь денно и ночью помышляет, которое у него «загорелось», — дела такого не сделали, все только напортили, так какие уж оправдания!..

Велика была на послов царская опала, притихли они, притаились. Не видать их стало, будто никогда на Москве и не было окольников Степана Матвеевича Проестева да дьяка Ивана Патрикеева...

Выждал царь три месяца и снова отправил в Данию, но уже не своих, не московских людей, а датского же комиссара Петра Марселиса, и, посылая его, царь говорил ему такие слова ласковые:

— Верим мы тебе, Петр, в таком великом нашем деле, ибо твой, Петров, отец, Гаврила, и сам ты, Петр, прежде нам, великому государю, служили верно. Как был в Польше и Литве отец наш, то

Гаврила Марселис о его государском освобождении радел и всякими мерами промышлял; да и другие ваши, Гаврилы и Петра, к нам, великому государю, многие верные службы были...

Марселис в ответ на столь милостивые речи низко кланялся и обещал государю и на сей раз послужить верою и правдою в его деле.

Затем Марселису в посольском приказе было внушено так:

— Объяви ты королю Христианусу, что прежние послы, Проестев и Патрикеев, говорили не по царскому наказу, а самовольно толковали о вере королевича и крещении. То говорили и делали они нерадением. Им велено было из Копенгагена отписать царскому величеству, если объявится какое-нибудь затруднение, но они ни о чем не писали и сами приехали, не сделав ничего. За это царское величество положил на них опалу. Великий государь станет королевского сына у себя держать в ближнем приятельстве и в государской большой чести, как государского сына и зятя. Ближние всяких чинов люди Российского государства будут его, королевича, почитать большой честью, и будет он одарен всем: города, села и денежная казна будет у него многая. Государь велел дать ему города большие: Суздаль и Ярославль с уездами и другие города и села, которые ему, королевичу, будут годны. В вере неволи не будет королевичу, а в православную христианскую веру греческого закона крещение всем людям — дар Божий: кого Бог приведет, тот и примет, а воля Божья свыше человеческой мысли и дела. Которые ближние и дворовые люди будут при королевиче и захотят служить при его дворе — тем всем государская милость будет во всем по их достоинству, а неволи им ни в чем не будет...

Вот как теперь заговорили! Пошли на всякие хитрости, лишь бы страстно желаемое царское дело привести к благополучному окончанию.

Ближние бояре так рассуждали в думе царской:

— Заполучить бы нам только королевича, так мы его из рук не выпустим! Само собою все сделается. Чтобы он, пожив с нами да приглядевшись к нашим обычаям, обласканный царем, отказался сотворить столь благое дело — перейти в нашу святую православную веру, — может ли такое статься!

Другие говорили:

— Вот и Проестев с Патрикеевым толкуют: королевич, вишь ты, сам сюда так и рвется, на все готов, отец только упирается,

сговариваться с послами запретил. Дело ясное: не в королевиче тут сила — в одном короле!

— А что король может поделать, коли королевич ему из Москвы отпишет: «Привел меня Господь Бог совершить благое дело, ради души спасения присоединился я к святой православной вере греческого закона»?

— Вот это верно, хоть и осердится король, а все же делать ему будет нечего! Не войной же ему идти на нас! Да и на кого идти? Кто тут причина? Королевич не малолеток...

— А коли проклянет?

— Ну, где же там! Сына-то ведь, чай, тоже пожалеет. Да ежели и проклянет, так проклятие еретика не страшно для православного христианина!.. Нет, клясть не станет... побурлит, посердится и замолчит... А теперь к чему поднимать это, теперь только обещать все надо. Не сумели Проестев с Патрикеевым оборудовать это дело, промахнулись на свою голову, надо думать, Марселис окажется поумнее.

— Надо думать, немец хитрый, бывалый!

И поехал Марселис в Копенгаген, твердо решившись радеть и промышлять всякими мерами.

Ему пришлось исправлять все промахи своих предшественников и он сразу натолкнулся на всякие препятствия.

Канцлер хотя и принял его, но весьма сухо, и когда он пустил в ход все свое красноречие, го увидел, что задача нелегка: на все его речи канцлер только головой качал да помалкивал, наконец сказал:

— Как это королевичу в Москву ехать? Знаем мы теперь людей московских! Люди они дикие. Что же ему придется попасть в рабство к этим диким людям? Обещают что угодно, да ничего не исполняют. Гораздо лучше оставаться ему в Дании — здесь без всякой беды можно ему прожить и отцовским жалованием. И это не мое мнение только, прибавил канцлер, — так все у нас думают.

Но он сильно преувеличивал — так думали только те, кто имел расчет желать женитьбы графа Шлезвиг-Голштинского на дочери чешского короля.

Марселис ответил канцлеру:

— Если бы в Москве люди были дикие, то я бы столько лет там не прожил. Зачем клеветать на москвитов, не зная их жизни! Поистине скажу, хорошо, если бы в Дании был такой же порядок, как в Москве. Никто не может доказать, чтобы царь не исполнил того, что обещает. Слово свое он держит крепко не только христианским государям, но и магометанам.

Канцлер ничего на это не мог возразить, а подумав немного, он сказал:

— В Москве многие бояре не хотят, чтобы царь выдавал дочерей своих за иностранных принцев, и это понятно: бояре желают сами породниться с царской семьей.

— Московский государь — самодержец, — ответил Марселис, — и делает все по своей воле. В теперешнем деле нет и не может быть никакого разногласия — все приближенные царские желают, не меньше самого царя, этого брака царевны с королевичем Вольдемаром.

Против этого канцлеру возразить опять было нечего, но у него наготове был новый и меткий выстрел.

— Сначала королевичу, конечно, в Москве будет хорошо, — сказал он. — Ему, наверное, будут оказывать большую честь, для того чтобы отвести его от лютеранской веры. Если же он на это не согласится, то перестанут почитать его.

Хотя Марселису прямо и не говорили ни царь, ни ближние бояре о том, как они смотрят на это дело, но он, человек проницательный и хитрый, отлично понимал, на что в Москве метят, поэтому выстрел канцлера попал прямо в цель и при неожиданности заставил Марселиса смутиться. Однако он тотчас же справился с этим смущением и, по-видимому, совершенно спокойно спросил:

— Какое же основание полагать это? Кто так хорошо знает царя и его приближенных, чтобы заранее решать, как они будут действовать?

Канцлер внимательно глядел на своего собеседника.

— Я их не знаю, — сказал он, — да и говорю не только о царе и его приближенных, а обо всем московском народе. Может случиться, что не царь и не приближенные, а именно народ, все московиты, будучи фанатиками, начнут оскорблять королевича за его преданность лютеранской вере. Я говорил с некоторыми шведами и голландцами, которые жилали в Москве и хорошо знают московитов, — это их мнение, что так непременно будет.

— Шведы и голландцы нарочно так говорят! — воскликнул Марселис. — Говорят так, желая расстроить тесный союз Дании с Москвою. На слова их нечего обращать внимания. Я много лет прожил в московском государстве и знаю московитов получше этих шведов и голландцев, и я утверждаю, что ничего подобного нельзя ожидать. Королевич Вольдемар в бытность свою в Москве всем очень понравился все его полюбили и желают его возвращения.

Канцлер хитро улыбнулся.

— Вы хороший посол, господин Марселис, — сказал он, — на все умеете ответ дать, и вас, видно, не переспоришь, но дело не во мне — я тут сторона, я только исполнитель приказаний моего государя. Поговорите с графом Шлезвиг-Голштинским, быть может, несмотря на все достоинства московитов и на то, что его так полюбили, он сам не захочет ехать.

Марселис откланялся канцлеру и отправился к Вольдемару в полной уверенности, что тут его красноречие будет гораздо более к месту.

Перед своим отъездом из Москвы он обстоятельно говорил с Проестевым и Патрикеевым, и они убедили его в том, что королевич только и мечтает, как бы скорей переселиться в Москву и вступить в брак с царевной.

Но и тут Марселиса ожидало разочарование — Вольдемар был уже не в том настроении, в каком находился перед отъездом из Копенгагена московских послов.

За эти последние месяцы он часто ездил к матери и поведал ей о своем деле. Графиня пришла в ужас. При мысли о разлуке с сыном в ней вспыхнула вся ее прежняя к нему нежность, и она пустила в ход все убеждения, всю силу, на какую способна мать, хотящая отворотить погибель от своего ребенка. Ее доводы, убеждения, мольбы и слезы в конце концов подействовали на Вольдемара.

Что же касается фантастической любви его к неведомой царевне, она не прошла, она время от времени просыпалась снова, но только время от времени и ненадолго.

Юный граф Шлезвиг-Голштинский жил весело, часто находился в обществе красивых женщин, и живая, осязаемая красота сильно вредила красоте призрачной, неосязаемой, созданной юным и пылким воображением.

Как бы то ни было, Марселис нашел королевича весьма сдержанным, и наконец после долгого разговора тот прямо сказал ему:

— Право, напрасно вы приехали — это дело так долго тянется, что уже наконец всем у нас надоело, да и мне тоже. Не знаю, отчего вам так нравится Москва и вы там живете, — я не нашел в ней ничего интересного. У меня от моей поездки не осталось никаких приятных воспоминаний, а грубости и дикости видел я там много.

— Как же мне прикажете понимать слова ваши? — спросил смущенный Марселис. — Как прямой отказ?

— Нет, — ответил Вольдемар. — Я бы отказался, если бы это только от меня зависело, но я должен и хочу поступить так, как мне прикажет король, мой отец. Если он прикажет жениться на царевне, я его не ослушаюсь.

Марселис после разговора с Вольдемаром стал объезжать и обходить всех влиятельных людей. Человек бывалый и к обхождению привычный, хорошо знавший людские слабости, он действовал весьма успешно. Где надо польстить — польстит, где надо пообещать — пообещает где надо подарить — подарит. Партия лиц, желавших брачного союза между Вольдемаром и дочерью чешского короля, совсем стушеввалась, сторонников женитьбы королевича на московской царевне все прибывало.

Королевич под влиянием разговоров со своими ближними людьми снова вернулся к прежним мыслям, и наконец Марселису было объявлено, что он может представиться его величеству и иметь с ним окончательный разговор. Король согласен на отъезд сына и на его женитьбу, только остается договориться об условиях.

Марселису дали понять, что теперь все дело в уступках желаниям короля, что, при малейшем противоречии королевской воле, дело разойдется, и уже на сей раз бесповоротно. Но Марселис и сам отлично понимал, что это так.

Король принял его милостиво, но прямо сказал, что прежде всего необходимо получить из Москвы письменное согласие на все его условия. Условия же были таковы:

«1) В вере королевичу неволи не будет, и церковь ему будет поставлена по вероисповеданию.

2) Королевич от всех людей высокого и низкого, духовного и мирского чина должен быть почитаем царским зятем, чтобы ему над собою никакого начальства не иметь, кроме царя и царевича, — их он будет почитать своими государями а больше никого.

3) Королевичу и его прямым наследникам обещанные города иметь в вечном и потомственном владении. Если ж Вольдемар умрет без наследников, то царевна Ирина наследует эти города в пожизненное владение. Если же царь, кроме городов и земель, изволит дать денежное приданое, то это — как сказано в русском переводе условий — «честнее и славнее будет». Кроме городов королевичу должны давать на содержание его двора, так как доходы с городов



неизвестны. Королевич будет одевать свой двор как того сам желает; вольно ему слуг принимать из датской земли и отпускать назад».

Марселис, не теряя часу, отправился с этими условиями в Москву и по приезде упрасивал всеми мерами, чтобы ответы на эти условия были удовлетворительные и чтобы с ними не мешкали, а то все дело разрушится.

Мешкать в Москве на сей раз не стали, собрали думу, сразу написали ответы и вручили их Марселису. Царь отпустил его с еще большей лаской, чем прежде, и просил, не теряя часу, ехать в путь обратный и торопить в Копенгагене дело.

Марселис отвечал царю, что себя не пожалеет, лишь бы сослужить службу его царскому величеству. Действительно, он не стал отдыхать в Москве, явился в Копенгаген раньше, чем его там ожидали, и по виду его можно было заключить, что старания его увенчались успехом.

На первый вопрос отвечали, что королевичу и его двору в вере и законе неволи никакой не будет, а о том, чтобы дать место для кирки, договор будет с королевскими послами, которые приедут с графом Вольдемаром в Москву.

На второй вопрос было объявлено безусловное согласие. На третий — тоже с прибавкою: «Если после Вольдемара останутся наследники, то имения графа Вольдемара в датской земле должны быть за Ириною и за ее наследниками... Также мы, великий государь, приданое: всякой утвари и деньгами, всего на триста тысяч рублей, — дать изволили».

По четвертому вопросу отвечали: «С назначенных городов собирается доходу много, а если окажется мало на дворовое содержание, то мы прибавим городов и сел».

Наконец, на пятый пункт последовало согласие и определено, чтобы королевич взял с собою в Москву триста человек.

Все эти ответные статьи были закреплены государскою печатью.

Король, всесторонне разобрав их, решился дать свое согласие.

Марселис кинулся к королевичу Вольдемару. Тот его встретил мрачно и, несмотря на свою всегдашнюю обходительность и ласковость, на сей раз говорил с ним в видимом раздражении. На поздравление Марселиса и его низкие поклоны он сказал:

— Не с чем поздравлять меня — по своей воле не поехал бы. Я согласился ехать только потому, что боюсь рассердить короля, отца моего. Боюсь я, что вы меня обманете и что мне в Москве худо будет. Можешь ли ты мне поручиться, Марселис, что все будет исполнено по договору, что все будет честно сделано?

Марселис стал уверять и клясться, что королевичу не о чем беспокоиться, нечего тревожиться, что его ожидает в Москве самая радостная жизнь.

— Если вам будет дурно, — говорил он. — то и мне будет дурно. Я отвечаю своею головою.

— А какая мне польза в твоей голове, когда мне дурно будет! — воскликнул королевич. — Видно, уж так Богу угодно, — прибавил он, — если король и все его приближенные так решили. Много я на своем веку постранствовал и так воспитан что умею с людьми жить. Одна моя надежда на доброту царя...

— И в этой надежде... ваша милость... не обманется, — поспешил заявить Марселис. — Царь Михаил Федорович — государь большой доброты и кротости, и если увидит ваше к себе расположение, то ничего для вас не пожалеет. Подумайте, ведь вы будете первым человеком в обширном и могучем государстве!

Итак, все было решено. Но надо отдать справедливость королю Христианусу — он вовсе не приневоливал сына, он в последнюю минуту говорил ему:

— Я решился на разлуку с гобою, Вольдемар, только в надежде на твое счастье, если же ты хочешь остаться — оставайся.

И Вольдемар остался бы, если б как раз в эти дни не поссорился с одной хорошенькой женщиной, с которой был очень дружен в последнее время. Но он поссорился с нею и захотел доказать ей, что вовсе не считает себя несчастным от этой ссоры, что легко может обойтись без порванной дружбы и даже совсем пренебрегает ею.

Вольдемар пренебрег даже слезами и воплями своей матери, разлукой со всей семьей.

Он недаром говорил Марселису, что много постранствовал и привык встречаться с новыми людьми и обращаться с ними. В нем была врожденная жилка искателя приключений, его опять с неудержимой силой влекла таинственная даль, в нем начинали роиться честолюбивые планы, и снова мелькал перед ним образ неведомой

царевны из сонного царства, которую он должен пробудить к жизни, к счастью своим поцелуем.

Он быстро набирал свой штат и с двумя королевскими послами, Олафом Пассбиргом и Стрено Билленом, отплыл из Копенгагена в середине осени.

Королевич направился в Данциг, чтобы через польские, а не шведские владения ехать к Москве.

На пути он на некоторое время остановился в Вильне, где был встречен с большими почестями и ласкою королем Владиславом.

В его честь дано было несколько блестящих праздников. На этих праздниках он совсем очаровал поляков, а главное — полек, своей красотой, ловкими манерами и знанием французского, а в особенности итальянского языка, бывшего тогда в большой моде.

## XVII

После скучного пути, во время которого единственным развлечением для Вольдемара были беседы с Марселисом, начавшим знакомить его с русским языком, пребывание в Вильне показалось юноше раем. Блестящий двор Владислава, ряд празднеств, лестный прием, умильные взгляды польских красавиц — все это вскружило голову самолюбивому и честолюбивому юноше.

Ему не хотелось выезжать из Вильны, но все же благоразумие взяло верх, он не замешкался с отъездом и выехал в самом лучшем настроении духа, обещая королю и придворным снова навестить их при первой возможности.

С этого дня все изменилось вокруг Вольдемара. Все неприятные впечатления его первого приезда в Москву исчезли: все ему стало нравиться, даже наступившая холодная, снежная зима.

Ему доставляло большое удовольствие мчаться по безбрежной белой, ослепительно сверкавшей на солнце равнине, закутавшись в богатую соболью шубу, обернув себе ноги выделанной, подбитой алым бархатом медвежьей шкурой.

Покойно развалившись в просторном, удобном возке, он внимательно слушал бесконечные рассказы Марселиса. Рассказы эти не могли не быть интересными: хитроумный посол провел такую разнообразную жизнь, входил в сношения с такими различными людьми, столько навидался в различных странах. Главное, Марселис сразу попал в точку, снова заинтересовал Вольдемара до последней степени царевной Ириной.

Он признался ему, что перед своим отъездом в Данию видел царевну.

— Я не сразу взял на себя это трудное и щекотливое поручение, — говорил Марселис, — мог ли я за него взяться без уверенности, что не наживу себе такого врага, как ваша милость? Вот вы считаете меня, и не без оснований, конечно, одним из главных виновников вашего теперешнего переселения в Москву, в каком же бы я был положении, если б невеста вам не понравилась? Ведь вы стали бы меня во всем обвинять, вы меня возненавидели бы!

— Почему же ты так уверен, что она должна мне понравиться? — с живостью и сверкнув глазами спросил Вольдемар.

— Потому, что юная красота, свежая, как роза, и чистая, как лилия, не может не пленить молодого человека с таким изящным вкусом, как ваша милость! — важно ответил Марселис.

Вольдемар засмеялся.

— Вот как! — воскликнул он. — Свежая, как роза, и чистая, как лилия. Господин Марселис, я не знал, что ты поэт!

— Я вовсе не поэт, но бывает такая красота, которая превращает в поэта и самого хладнокровного человека.

И при этом зоркие глаза Марселиса пристально следили за впечатлением, произведенным его словами на юношу.

Вольдемар почувствовал вдруг сердечное замирание. Не только образ копенгагенской приятельницы, с которой он поссорился перед отъездом, но и недавно пленявшие его образы польских красавиц вылетели из его памяти. Снова он оказался под обаянием грезы.

— Как же ты мог ее увидеть? — спрашивал он. — Я в течение более чем двух месяцев делал всевозможные попытки, чтобы добиться этого, — и не мог.

— Очень просто, — ответил Марселис с хитрой миной и пожимая плечами, — я подкупил одну из теремных постельниц, которая тайком провела меня, поместила в удобном уголке, мимо которого должна была пройти царевна. Сама же постельница — прехитрая особа — остановила царевну в двух шагах от меня, заговорив с нею, вот я и успел не только разглядеть красавицу, но и услышать ее голос. Признаюсь, принц, на своем веку в разных странах видал я немало девиц прелестных, но такой еще не приводилось видеть!.. Одним словом, вас будет пара, — прибавил он, смотря на красивое лицо Вольдемара и не боясь, что слова его будут приняты за грубую лесть.

Вольдемар даже и не слышал этих слов. Перед ним быстро, одна за другою, создавались и исчезали картины будущего.

«Дикие нравы — прятать женщин, — думал он. — Я все это изменю. Я не стану прятать царевну, пусть все любуются ее красотой...»

Ему представлялась его будущая жизнь в виде нескончаемого праздника любви и всяких удовольствий.

Да, конечно, не станет он запереть ее в келью, эту московскую розу, и не засядет на всю жизнь в Москве с нею. Он повезет ее в Вену, повезет в Копенгаген, пусть все узнают, какое чудо красоты выросло и созрело для него на диком Севере!..

В этих мечтаниях, в беседах с Марселисом короталось время. Зима становилась все суровее и суровее. Началась вторая половина декабря.

Вольдемар переехал русскую границу, и под Псковом к нему выехали навстречу боярин князь Юрий Сицкий и дьяк Шипулин.

При въезде в город путешественника ожидала еще более торжественная встреча. Псковский воевода, гости и посадские лучшие люди поднесли ему дары: хлеб-соль, два сорока соболей и сто золотых. Вольдемар стал было отказываться от даров, но дьяк Шипулин объяснил ему, что его отказ очень оскорбит псковичей и чтобы он этого не делал.

Князь Сицкий, по царскому указу, «королевичу Вольдемару Христианусовичу всякое бережение и честь держал великую; здоровье его от русских и всяких людей остерегал накрепко».

Одна только беда и случилась до Новгорода. Во время остановки в Опочке, несмотря на всю честь и все бережение, неведомо какие люди испортили возок королевича. Как влез он в него да поехал — и видит: у дворец вырезан весь бархат.

В Новгороде была королевичу такая же торжественная встреча, как и в Пскове. А при въезде его в Москву, 21 января 1644 года, московские, голландские и английские гости и торговые люди поднесли ему хлеб и дары и целовали ему руку...

И вот королевич у цели. Он сидит на пиру государевом. Кругом него пьют и шумят люди, с ним приехавшие, и московские бояре. У всех развязались языки, все веселы пьяным весельем. Датчане с москвитями пожимают друг другу руки, говорят друг другу всякие любезности, нисколько не смущаясь тем, что не понимают друг друга... Да к чему тут и понимать слова, когда взгляды и жесты тех так выразительны!

Веселым надо быть и королевичу, а он вдруг взял да и загрустил о покинутой родине, об отце с матерью, о братьях и сестрах, о приятелях и приятельницах, обо всем что отдалено теперь от него глубокими снегами да застывшим морем.

Однако он был не из тех людей, которые надолго отдаются грусти. Тряхнул он кудрями, осушил залпом чару вина и принял участие в общем веселье.

## XVIII

С делом не мешкали, а потому в скором времени начались беседы датских послов Олафа Пассбирга и Стрено Биллена с ближними царскими боярами, назначенными для этого дела: князем Одоевским и Сицким, окольниковым Стрешневым и дьяками Львовым и Волошениновым.

На этот раз датчане должны были убедиться, что в Москве уже не желают делать им никаких придинок и склонны соглашаться на все их требования. Даже к самому страшному вопросу о том, чтобы в королевских грамотах имя короля Христиана писалось выше царского имени, отнеслись иначе, чем прежде.

На следующий день после первого «ответа» датских послов с боярами, а именно 4 февраля, царь Михаил Федорович посетил королевича и выразил большое удовольствие заметив, что Вольдемар уже кое-что понимает из русской речи и даже хоть и с трудом, но все же выговаривает много русских слов.

Вольдемар жаловался царю на шведов, которые, нарушив договор, вторглись в Голштинию, и говорил, что царю надо беречься шведов.

— Я напоминаю об этом великому государю, — говорил Вольдемар, — желая ему всякого добра, так как я приехал быть с ним в родственном союзе и готов помогать ему во всяком деле.

Царь ласково кивнул ему головою и любовно ему улыбнулся, услышав слова эти.

— Это так, — сказал он, — что правды в шведах мало и верить им нечего, только до сих пор мне от них задиру не бывало, и у меня со шведским королем заключен вечный мир.

Слова эти Вольдемар перевел себе так: «Родство родством, а мешаться тебе в дела еще рано».

Юноша понял, что действительно поторопился, но он не стал смущаться и бойко возразил:

— Какое у вас, великий государь, со шведами дружество — разве они с московским государством как друзья поступили? Царь Василий призвал их на помощь, а они оказались злыми врагами. [\[12\]](#)



— Верно! — произнес царь, и ему понравилось, что не только настоящие, но и прошедшие обстоятельства, касающиеся московского государства, ведомы королевичу.

«Из него прок будет, малый с головою!» — подумал он.

Вольдемар хотел было просить царя дозволить ему представиться государыне царице и — что само собою подразумевалось — царевне, но он не решился на это, боясь как-нибудь повредить себе во мнении царском своей торопливостью.

Он стал ждать. Прошло четыре дня, и вот, вместо приглашения к царю, случилось совсем иное.

К Вольдемару от имени патриарха Иосифа явился бывший в Швеции резидент Дмитрий Францбеков и на вопрос Вольдемара, с чем он пожаловал, повел такую речь:

— Великий святитель со всем священным собором сильно обрадовался, что вас, великого государского сына, Бог привел к великому государю нашему для сочетания законным браком с царевною Ириною Михайловной, и вам бы, государскому сыну, с великим государем нашим, с царицею и их благородными детьми и нами, богомольцами своими, верою соединиться.

Королевич весьма смутился и сразу пришел в негодование, но он сдержал себя и спокойно ответил:

— Принять мне веру греческого закона никак нельзя, и ничего я не буду делать вопреки договору, заключенному Петром Марселисом. Если Марселис обещал на словах царю, что я переменю веру, а королю, моему отцу, и мне того не сказал, то он солгал, обманул и за это от короля и от меня будет наказан. Если бы я знал, что опять будет речь о вере, то я из Дании сюда не приехал бы, и если теперь его царское величество не изволит дело делать по статьям договора, то пусть прикажет меня отпустить назад к королю отцу моему, с честью.

Францбеков не смутился ничуть.

— Марселису никто не приказывал и не поручал говорить и решать дело о вере, — сказал он. — Теперь вашей милости назад в свою землю ехать невозможно. Оскорбляться вам нечего, а следует обсудить благоразумно. Да не угодно ли вам поговорить о вере с учеными духовными людьми московскими?

Королевич вспыхнул.

— Я сам учен не меньше московских попов! — почти закричал он. — Библию я прочел пять раз и всю ее помню, учить меня нечего. А впрочем, — прибавил он, стихая, — если царю и патриарху угодно поговорить со мною, то я говорить и слушать готов.

С этим ответом Францбеков и ушел от королевича, оставив его совсем встревоженным.

Послы датские, бывшие при этом объяснении, встревожились не меньше королевича, особенно Пассбирг.

Пожилой, унылого и сухого вида человек, недоверчивый по своему характеру и даже мнительный, он прямо высказал:

— Я говорил королю, что нельзя доверять никаким обещаниям московитов. Я предвидел, что дикари эти заманят нас и потом откажутся от всех условий.

— Нет, каков Марселис! — в негодовании воскликнул Вольдемар. — Достаньте мне его скорей! Пошлите за ним, чтобы явился немедленно! Ах, старая лисица! Посмотрю я, что он мне теперь ответит?

Марселис не заставил себя ждать. Вольдемар так на него и накинулся, называя его прямо предателем.

— А еще головой мне ручался, что никакого худа мне здесь не будет, никакого насилия!

Марселис хотя и смутился, но все же пытался успокоить королевича.

— Ведь вот же этот швед прямо объясняет, что тебе не было никакого полномочия решать вопрос о моей вере! — в негодовании говорил королевич.

— Он лжет, — уверял Марселис, — и вы не придавайте его словам никакого значения, ваша милость. Как же бы я осмелился брать на себя такое дело, да и разве забыли вы, что ответные условия я привез за царской печатью.

Вольдемар должен был замолчать.

— Да, конечно, — сказал он, — но в таком случае и тебя обманули — мне от этого не легче.

— Нет, легче, ваша милость, потому что вы всегда имеете возможность указывать на этот документ, скрепленный царской печатью. Дело вовсе не так страшно, как вам представляется, — поговорят и перестанут! Поймите же, патриарх хотя и знает, что вы не

перемените религии и что царь согласен на это, все же считает своей обязанностью попытаться уговорить вас. А вы будьте благоразумны и потолкуйте с ним и с царем без всякого раздражения, все кончится к общему удовольствию... патриарх и царь успокоятся. Они сделают свое дело, а вы — свое.

В конце концов спокойный тон Марселиса и его доводы успокоили и Вольдемара. Только Пассбирг все качал головой и ворчал:

— Марселис играет двойную игру, ему нельзя верить. Если уж так начинают сразу, добра ожидать нечего!

— Однако не след и преувеличивать, — возразил Вольдемар. — Все, что говорил Марселис, мне кажется основательным, да и на самый худой конец, что же, возьмем и уедем — ведь я не переменю религии.

— А если заставят силой? — мрачно сказал Пассбирг. — А если мы окажемся пленниками у этих дикарей?

Вольдемар засмеялся.

— Мой добрый Пассбирг, ты плохо спал эту ночь! Да к тому же московские кушанья слишком жирны для твоего желудка, вот тебе и представляется все в мрачном свете. Ну, где же это видано, чтобы силой заставляли переменить религию?

— Здесь все возможно! — упрямо и уныло повторял Пассбирг.

Вольдемар, совершенно полагаясь на объяснения Марселиса, со спокойным духом отправился к царю, где был принят почетно и проведен в царскую комнату.

Царь встретил королевича еще более ласково, чем в прежний раз, крепко пожал ему руку и троекратно с ним поцеловался.

Он посадил его рядом с собою и объявил, что хочет по душе потолковать с ним о весьма важном деле.

Королевич ответил, что рад слушать все, что ему скажет государь.

— Послы королевские нам говорили, — начал Михаил Федорович, — что король велел тебе быть в моей государевой воле и послушании и делать то, что мне угодно... Ну и вот, мне угодно, чтобы ты принял православную веру.

Сказал это царь и глубоко вздохнул, а сам глядел прямо в глаза королевичу.

Вольдемар не ожидал ничего подобного, но недаром он объявил Марселису, что много навидался на своем юном веку и привык к обращению с разными людьми. Помолчав несколько мгновений, он спокойно ответил:

— Государь, я рад быть в твоей воле и послушании, готов пролить за тебя свою кровь, но веры своей переменить не могу, у нас, в Дании, и в других государствах европейских ведется; что муж исповедует веру свою, а жена другую, и если вашему величеству не угодно исполнить наш договор, то прошу отпустить меня назад, к отцу моему.

Царь еще раз вздохнул, но отвечал решительно:

— Любя тебя, королевич, для ближнего присвоения, я воздал тебе достойную великую честь, какой прежде никогда не бывало; так тебе надобно нашу приятную любовь знать, что мне угодно исполнять, со мною верою соединиться, и за такое превеликое дело будет над тобою милость Божья, моя государская приятная любовь и от всех людей честь! Не соединясь со мною верою, в присвоении быть и законным браком с моею дочерью сочетаться тебе нельзя, потому что у нас муж с женою в разной вере быть не могут... Петр Марселис, — продолжал царь, — в московском государстве живет долго и знает подлинно, что

не только в наших государских чинах, но и в простых людях того не повелось. Отпустить же тебя назад непригоже и нечестно: во всех окрестных государствах будет стыдно, что ты от нас уехал, не совершив доброго дела.

Вольдемар молчал и глядел во все глаза на царя, не веря ушам своим. А царь с еще большей ласкою в голосе и в то же время таким тоном, будто Вольдемар сознательно и кровно обижал его, говорил:

— Ты бы подумал и мое прошение исполнил... Да и почему ты не хочешь быть в православной вере греческого закона? Знаешь ли, что Господь наш Иисус Христос всем православным христианам собою образ спасения показал и погрузился в три погружения?

— И у нас, в лютеранской вере, погружение было, — ответил Вольдемар, — а перестали погружать только лет с тридцать. Я погружения вовсе не хую, только теперь мне креститься во второй раз никак нельзя, потому что боюсь клятвы от отца своего. Да и при царе Иване Васильевиче было, что его племянница вышла за короля Магнуса.

— Царь Иван Васильевич сделал это, не жалуя и не любя племянницы своей, — сказал Михаил Федорович, — а я хочу быть с тобою в одной вере, любя тебя как родного сына.

Защемило сердце у графа Шлезвиг-Голштинского. Сразу увидел он, что старый Пассбург прав. Перед ним отверзлась какая-то бездна. Он чувствовал и понимал, что это не простой разговор, что никакими доводами не переубедить ему царя и что здесь, в Москве, свои собственные взгляды на то, что возможно и что невозможно. Да, вот теперь царь говорит ласково, объясняет все своей особой отеческой любовью к жениху дочери, но пройдет несколько дней, ласковая речь превратится в гневный приказ, а потом... что будет потом?

Королевич чувствовал, что у него начинает кружиться голова. Надо обдумать положение, надо посоветоваться с послами.

Вольдемар встал, поклонился царю и попросил его назначить другое время, чтобы поговорить о вере.

Среди датчан началось волнение. Все посольские люди хоть и не знали ничего определенного, но хорошо догадывались, что творится что-то неожиданное и плохое.

Вольдемар долго совещался со своими ближними людьми, и наконец была написана и послана царю такая грамота:

«1) Разве вашему царскому величеству не известно, что вы за два года прислали к отцу моему великих послов о сватовстве, и когда они объявили, что я должен переменить веру, то им прямо отказано?

2) Ваше царское величество на том стоите, что вы прислали к отцу моему Петра Марселиса, который, по вашему наказу, объявил, что мне в вере никакой неволи и помешки не будет.

3) В грамоте вашего царского величества, за вашею печатью присланной, не первая ли статья говорит о вольности в вере?

Мы никак не можем верить, чтобы ваше царское величество, государь повсюду славный и известный, решились, по совету злых людей, что-нибудь сделать вопреки вашему обещанию и договору, что приведет не только нашего отца, но и всех государей в великое размышление, и вашему величеству недобрая заочная речь от того будет».

Ничего более сильного, ясного и решительного нельзя было придумать.

Отправив к царю эту грамоту, Вольдемар начал надеяться, что царь наконец одумается и поймет всю невозможность дальнейших пререканий.

С нетерпением Вольдемар и послы ожидали царского ответа. Ответ этот не замедлил и был таков:

«И теперь мы вам тоже объявляем, что вам в вере никакой неволи нет, а говорим и просим, чтобы вам с нами быть в одной христианской православной вере, в разных же верах вашему законному браку с нашей дочерью быть никак нельзя, и в нашем ответном письме, которое послано с Петром Марселисом к отцу вашему, нигде не написано такое, чтобы нам вас к соединению в вере не призывать. Мы, великий государь, хотим начатое дело так делать, как угодно Богу и нашему царскому величеству, и вас к тому всякими мерами приводим и молим с прошением, чтобы вам поискать своего душевного спасения и телесного здравия, с нами верою соединиться, а его королевскому величеству, другим христианским государям и вам мимо дела и правды размышлять непригоже; про наше царское величество недобрых заочных речей быть не в чем, а ссоре бы вам ничьей не верить».

Прочел этот ответ Вольдемар с послами, и у всех у них руки опустились.

Пассбург торжествовал.

— Ведь я говорил, что здесь все возможно! — воскликнул он. — Однако я не ожидал такого ответа. Должно признаться, что московиты по-своему тонкие дипломаты.

Вольдемар перечитывал грамоту, и у него дрожали руки от раздражения.

— Да, действительно, — засмеялся он злобным смехом, — в ответном документе, за царскою печатью, нигде не написано, чтобы мне венчаться, оставаясь в моей вере. Меня молят с прошением — вот так мольба! Однако что же мне отвечать?

Приступили к составлению грамоты.

«Мы ясно выразумели из вашего ответа, — писал Вольдемар, — что ваше царское величество не по ясным словам, как у великих христианских государей во всей Европе ведется, идете, но единственно по своему толкованию и мысли обо всем это дело становите. Никогда еще не бывало такого договора, в котором бы его королевского величества, отца нашего, всю основную мысль превратили и явные слова в иную мысль, по своему изволению, толковать и изложить хотели, как теперь в этой стране делается...»

Далее королевич убедительно просил, так как никакое соглашение невозможно, отпустить его в Данию.

— Что же теперь будет? Что могут они нам придумать и отчего царь не дает ответа? — спрашивал на другой день Вольдемар у вошедшего к нему Пассбирга.

— Ответ есть, — многозначительно и мрачно сказал посол.

— Где же он? Дайте мне его скорее!

— Он там, у входа... живой ответ, — усиленная стража, которая меня не выпустила, когда я хотел выйти из дома.

Королевич не поверил, кинулся к выходу, но там должен был убедиться, что он пленник.

Морозная, снежная зима неожиданно сменилась дружной весной. Потекли, сверкая на солнце, шумные ручьи по московским улицам и переулкам. На иных перекрестках нельзя было ни пройти, ни проехать — хоть лодки спускать да переправлять народ, спешащий по своим делам и останавливаемый шумными весенними потоками. По иным местам, под московскими пригорками, даже много бед вода наделала, но люди московские и ко всем этим бедам отнеслись снисходительно — уж больно надоела зимняя стужа.

Таких морозов, какие были в ту зиму, старожилы не могли запомнить: вороны и голуби замерзали на лету и так и падали на головы прохожих.

В Замоскворечье появился юродивый, никому не ведомый до того времени. Юродивый тот, детина огромного роста, в волчьей шкуре шерстью вверх, с нечесаными, как войлок, торчавшими волосами и по какому-то чуду незамерзавшими босыми ногами, бегал по улицам и кричал, размахивая руками, что чаша гнева Божьего опрокинулась на землю, что за грехи покарает Господь людей и все человечество вымрет от стужи, что не будет на земле больше ни весны, ни лета, а сплошная зима. Солнце станет показываться все на более короткое время, наконец закатится да и не взойдет больше — и зачоченеет род людской среди безрассветного мрака.

Народ внимал словам юродивого и проникался страхом и трепетом.

В конце января и в начале февраля, когда морозы держались непрерывно, на многих стала нападать паника: о женщинах уже и говорить нечего, а и мужчины в конце концов убеждались, что юродивый возвещал правду, что впереди зима бесконечная и смерть.

Мороз продержался до марта и начал ослабевать. Юродивый продолжал бегать по улицам и кричал о том, что вот теперь поотпустит маленько, а затем такая стужа начнется, что дышать нечем будет.

Однако в половине марта сразу началась оттепель, а первого апреля от глубокого снега не осталось и помину. Теплое солнце, поднимаясь все выше и выше, грело и сушило московскую грязь.



Народ успокоился, бранил на чем свет стоит перепугавшего всю Москву юродивого, и плохо бы ему пришлось, если бы он показался на улице. Но он вовремя скрылся, пропал без вести, будто его никогда и не было.

Светит весеннее солнце, пробивается в узкие разноцветные окошки царицына терема, воздух весны живительной струей пробирается в каждую щелку. Кипит хлопотливая жизнь царицына муравейника. По низеньким душным покойчикам, по лесенкам, переходам и чуланчикам идет с утра до вечера всякая работа, звучат и громкие и тихие речи теремных жилиц, вечные неизбежные пересуды. Ссоры и мир, дружба и ненависть чередуются друг с другом ежедневно.

То и дело проносятся разными путями со всех концов Москвы всякие вести и слухи, но пуще всего занят терем басурманом королевичем — женихом царевны Ирины.

Теперь это дело не тайное, о нем знают все, только по наказу государыни не смеют громко говорить об этом деле, пуще же всего молчат о нем перед царевной. И она молчит, ни у кого ни о чем не спрашивает. По-видимому, ведет она свою обычную жизнь и ни в чем вокруг нее нет перемены, но в ней самой перемена большая. Хоть и молчит она, а знает все, что касается гостей приезжих.

Маша улучшает каждый день удобное время и доподлинно докладывает ей как есть обо всем. Маша же знает гораздо больше, чем княгиня Хованская, чем сама даже царица.

Быстроногая, легкая и чуткая девочка скользит, как тень, по всем закоулкам терема, все она видит, все слышит, не ускользает от нее ни одно слово: за два покоя расслышит она самый тихий, боязливый шепот — и только узнает что-нибудь новенькое, тотчас же к царевне и передаст ей в ушко новинку.

Мало того, Маша ухитрилась, не раз и не два, выбираться из терема. Видела она немцев приезжих, видела она и самого королевича.

Вся трепещущая и радостная примчалась она к своей царевне и рассказала ей быстрым, восторженным шепотом о том, что королевич красоты неописанной. Царевна краснела как маков цвет и жадно слушала, спрашивала-переспрашивала Машу, так спрашивала, что под конец той уж и лгать приходилось. Кой-чего она и недоглядела в

королевиче, да царевна знать желает — жаль ей не ответить, жаль не успокоить — вот солгать и приходится.

Сначала, в первое время по приезде королевича, в тереме все были как на угольях: все были уверены, что со свадьбой мешкать не станут я уже заранее готовились ко всякому веселью.

Но вот прошло целых три месяца. Королевич живет в Китай-городе со своими немцами, а о свадьбе нет и помину. Царица весь день вздыхает, вздыхает и княгиня Хованская, а царь батюшка заглянет в терем — так и тот вздыхать начнет.

Вот тебе и раз! Ждали веселья всякого, а тут тоска одна, горе — с чего бы это?

Скоро узнали все, а Маша раньше всех, что королевич упрямится от своей басурманской веры отстать не хочет, не желает принять святое крещение.

Весть эта как громом поразила царевну Ирину.

Тихонько ото всех плакала, ночей не спала, все думала о своем горе. Ведь после того как Маша описала ей красавца королевича, она только им и жила, он наполнял все ее помыслы, при одной мысли о нем замирало ее сердце.

Тихий поздний час ночной. В опочивальне царевны тьма, даже лампада перед киотом с образами потухает. Ничего не видно, все окутано мраком, только среди ночной тишины явственно слышится сдержанный шепот. То Маша прокралась затаив дыхание, дрожа и замирая с каждым шагом, в опочивальню царевны, проскользнула к ее высокой кровати, наклонилась над ее изголовьем и ведет с ней свою обычную беседу о королевиче. Царевна плачет, Машутка ее успокаивает, но нелегко теперь успокоить царевну. Жалуется она: зачем только это он приехал, зачем такое горе стряслось над нею? Негодует она на королевича.

— Вот, говорила ты, Машуня, — слышится жалобный голосок Ирины, — говорила: пригожий он, ласковый, добрый, нет — не таков он, видно, ежели бы таков был, стал ли бы он противиться батюшкиной воле? А вестимо, за нехристя меня не выдадут — греха такого не будет...

Но у Маши нет никакого понятия о грехе.

Она не знает, где тут грех. Тут совсем никакого греха не видно — все дело в том, что не выходит так, как бы хотелось им с царевной, —

ну и, поразмыслив, надо как бы так устроить, чтобы все уладилось. Главное же — вот уж с утра новая мысль пришла в голову Маше, и она спешит поделиться этою мыслью с царевной.

— Все будет ладно, царевна, — шепчет она, — на все королевич согласится, только одно надо беспрерывно: чтобы ты его увидела и он тебя увидал.

— Бог с тобою, Машуня! — испуганно, почти громко вскрикнула Ирина и вся вздрогнула. — Как такое быть может?

— Кабы знала я как, то и сказала бы, да вот беда: не могу придумать, как бы это сделать.

— Да что сделать-то... сделать-то? — дрожит голосок царевны. — Нельзя до времени мне его видеть, и ему тоже нельзя видеть — нечего и думать об этом.

— А нешто ты не хочешь, царевна? Ну, скажи, скажи, как перед Истинным, неужто не хочешь?

Во тьме не видно, как вспыхнули щеки Ирины. Не может она лгать перед своей любимой подругой.

— Хочу! — едва слышно шепчет она. — Знаю, что грех это, а все же не стану лукавить: хотелось бы увидеть его хоть на самую малую минуточку. Хоть пропасть потом, лишь бы взглянуть на него!..

Маша торжествовала.

— Ну вот, видишь ли, я так и знала! Вот и нужно, беспрерывно нужно вам повидаться — как повидаетесь да столкуетесь...

— Столковаться!.. Что ты, опомнись, Машуня!

Царевна даже ей рот закрывает рукою, но Маша, отклоняя ее руку, шепчет:

— А что же такое? Уж коли увидите, так и потолкуете. Не слушается он государя... а тебя, как же тебя-то он не послушает? Скажешь ты ему одно слово — он все и исполнит по твоему приказу, — вот и уладится дело...

Долго, долго, чуть не до самого рассвета, шепчется царевна с Машей. Раздастся поблизости шорох, скрипнет половица, пропищит мышонок — и Маша не дышит, юркнуть под кровать собирается... стихнет все — и опять она шепчет на ухо царевне.

Кончилось тем что Ирина совсем поддалась хитрому бесенку: искусила и соблазнила ее Маша, и теперь уже не было и помину о грехе, оставалось одно только страстное желание увидеть королевича.

Хватит ли сил вымолвить ему слово — этого царевна не знает, но для того, чтобы увидеть его, она готова на все: нет в ней ни стыда, ни страха.

А Маша обещает все устроить, конечно, не вдруг, не сразу, не завтра, не послезавтра, а все же в скором времени. Как она устроит — она еще и сама не знает, но вся она кипит: она верит в то, что ей удастся сделать так, как она хочет и свою твердую веру передает и царевне.

Вольдемар проводил невыносимо скучные, однообразные дни, переходя от порывов злобы и отчаяния к надежде. Ему все же в конце концов казалось невозможным такое грубое насилие. Он думал, что пройдет еще несколько времени, и царь поймет незаконность и опасность своих поступков. Очевидно, у царя плохие советники. Надо найти кого-нибудь из ближних бояр, кто бы взялся за это дело.

Пришлось позвать Марселиса, на которого королевич очень сердился, хотя и склонен был теперь думать, что тот сам обманут, сам попался.

Вольдемар расспросил Марселиса о ближних боярах, и тот указал ему на боярина Федора Ивановича Шереметева как человека благоразумного и ласкового, пользующегося к тому же царским расположением.

Вольдемар послал просить к себе Шереметева, и, когда тот к нему явился, он, всячески обласкав его, убеждал его похлопотать перед царем об отпуске. Королевич говорил:

— Я знаю, что ты большой, ближний царский боярин, справедливый и разумный, а поэтому бью тебе челом: помоги мне, чтобы царское величество послов и меня отпустил.

— Хорошо было бы тебе с царским величеством соединиться в вере, — ответил Шереметев, — а ехать такую дальнюю дорогу, ехать назад непригоже.

— Соединиться с царем в вере я не могу, — возразил Вольдемар, — об этом и говорить нечего — пусть меня отпустят. Но если меня честно отпустят, я стану громко прославлять царское величество.

Шереметев обещал донести царю о желании королевича и сделать все, что от него зависело, для убеждения государя исполнить это желание. Но ответ был самый плачевный: стража вокруг двора королевича оказалась усиленной.

Тогда датские послы отправились в посольский приказ, но там им прямо объявили, что нечего и думать о браке королевича с царевной без соединения в вере.

— Вы обязаны, — говорили бояре, — упрашивать и уговаривать вашего королевича принять православие.

— Нам это не наказано, — ответили послы, — и если мы только заикнемся королевичу о том, чтобы он отрекся от своей веры, то король велит снять с нас головы.

— Да хотя бы королевич и соединился верою с царем, — прибавил Пассбург, — то все же он во всем другом не сойдется: в постных кушаньях, питье и платье. Теперь мы ясно видим, что тому делу, для которого мы сюда приехали, нельзя свершиться. Королевич веры своей не переменит, и говорить об этом даже напрасно. Нам одно остается — уехать; пусть нас царское величество отпустит как подобает, мы не пленники, и держать нас силою нельзя: от этого могут быть великие и неприятные последствия.

Но бояре, очевидно, ни о каких последствиях не думали. Они решились не мытьем, так катаньем добиться своего и полагали, что, раз королевич залучен в Москву, в конце концов всего и можно будет достигнуть.

Пассбург и Биллей возвратились к Вольдемару с очень неутешительным известием: отпуска нет и не предвидится.

Вольдемар решился терпеть, пока сил хватит, а пока прилежно занимался русским языком с Иваном Фоминым, иностранцем.

Способности королевича к языкам были поразительны. Каждый день запас его знаний в русских словах и оборотах русской речи быстро увеличивался: он уже бегло читал и писал по-русски изрядно. Если бы не трудность произношения, он мог бы вести бегло какую угодно беседу. Он рассчитывал при первом свидании с царем приятно поразить его, так как мог уже с ним объясняться без помощи переводчика.

В ожидании решения своей участи датчане изощрались коротать время без особенной скуки. Быстро растаявший снег и невылазная грязь лишали их возможности выезжать и выходить из дому, да и неизвестно еще, мыслимы ли были такие прогулки и поездки, ведь они находились под стражею. Но при доме был обширный прекрасный сад; его уже очистили от снега: на деревьях уже приготавливались почки, погода стояла такая чудесная, солнце так приветливо грело! Вольдемар со своею свитой проводил долгие часы в этом саду, придумывая всякие забавы.

Иногда из сада раздавались звуки музыкальных инструментов, пение датских песен, веселые возгласы. Датчане пиروвали, вино оказывалось в изобилии, и им не пренебрегали. Не будь вина, трудно было бы справиться с одолевавшей скукой.

21 апреля явился к королевичу, уже раньше бывший у него, Дмитрий Францбеков, принес ему письмо от патриарха и говорил так:

— Государь королевич, послал меня к тебе государев отец и богомолец святейший патриарх Московский и всея России, велел он твое здравие спросить, как тебя Христос милостью своею сохраняет? И велел тебя известить: «Слух до меня дошел, что ты, государь королевич, у царского величества отпрашивался к себе, а того великого дела, для которого приехал, с царским величеством не хочешь совершить». Так святейший патриарх Иосиф о том к твоему величеству советное за своей печатью, письмо послал, просит тебя письмо прочесть и ответ ему дать.

Королевич на этот раз сам стал разбирать письмо и в конце концов разобрал.

«Прими, государь королевич, Вольмар Христианусович, — писал патриарх, — сие писание и, прочтя, уразумей его любительно и, уразумев его, не упрямясь. Государь царь ищет тебе и хочет всякого добра и ныне и в будущем веке. Своею упрямою доброго, великого, любительного и присвоенного дела с его царским величеством не порушь, но совершенно учини во всем волю его. По Боге послушай, не от Бога тебя он отгоняет, но совершенно Богу присвояет. Да и отец твой, Христианус-король, показал совет свой к его царскому величеству и присвоиться захотел, тебя, любимого сына своего, к царскому величеству отпустил, чтобы тебе жениться на его дочери, и с послами своими приказывал, что отпустил тебя на всю волю его царского величества, так тебе надобно его царского величества послушать, да будешь в православной Христовой вере вместе с нами. Мы знаем, что вы называетесь христианами, но не во всем веру Христову прямо держите и всеми статьями разделяете от нас, и тебе бы, государь королевич принять святое крещение в три погружения, а о том сомнения не держать, что ты уже крещен. Несовершенное вашей веры крещение требует истинного исполнения, таким образом и будет единокрещение в святую соборную и апостольскую церковь, а не два, и у нас второго крещения нет».

Дальше Вольдемар не стал читать, а прямо сел и написал такой ответ:

«Так как нам известно, что вы у его царского величества много можете сделать, то бьем вам челом, попросите государя, чтобы отпустил меня и господ послов назад в Данию с такою же честью, как и принял.

Вы нас обвиняете в упрямстве, но постоянства нашего в прямой вере христианской нельзя назвать упрямством. В делах, которые относятся к душевному спасению, надобно больше слушаться Бога, чем людей. Мы хотим отдать на суд христианских государей: можно ли нас назвать упрямым.

Как видно, у вас перемена веры считается делом маловажным, когда вы требуете от меня этой перемены для удовольствия царского величия, но у нас такое дело чрезвычайно великим почитается и таких людей, которые для временных благ и чести, для удовольствия людского веру переменяют, бездельниками и изменниками почитают.

Подумайте о том, если мы будем Богу своему не верны, то как же нам быть верным царскому величеству? Нам от отца нашего наказа нет, чтобы спорить о мирском или о духовном деле; царское величество нас обнадежил, что нам, нашим людям и слугам никакой неволи в вере не будет. Мы хотим вести себя перед царским величеством, как сын перед отцом, хотим исполнять его волю во всем, что Богу не гневно, нашему отцу не досадно, нашей совести не противно, и ничего не желаем, как приведения к концу договора, но для этого не отступим от своей веры.

Вы приказываете нам с вами соединиться, и если мы видим в этом грех, то вы, смиренный патриарх, со всем освященным собором, грех этот на себя возьмете. Отвечаем: всякий свои грехи сам несет, если же вы убеждены, что по своему смирению и святительству можете брать на себя чужие грехи — сделайте милость, возьмите на себя грехи царевны Ирины Михайловны и позвольте ей вступить с нами в брак».

Как ни казалось разумно и убедительно это письмо, ему не суждено было произвести никакого впечатления на патриарха и помочь делу. Время шло, а датчане чувствовали себя пленниками и не знали, когда же наконец окончится их неволя.



Как-то, в начале лета, после скучного, однообразного дня, вышел королевич под вечер в сад.

Вечер был тихий и теплый, трава уже поднялась высоко, вербы стояли одетые бледной, нежной листвой, от тополей далеко разносилось смолистое благоухание. Солнце давно зашло, на темно-синем небе загорались звезды.

Королевич забрался в самую глубь сада и бродил взад и вперед по березовой аллее, за которой шел высокий бревенчатый забор.

Что там такое, за этим забором, — королевич не знал, да и мало интересовался. В мыслях его и в сердце было очень смутно, так что только юность да значительная беззаботность нрава заставляли примиряться с невозможным положением, в котором он теперь находился. Утомленный всеми неприятностями, он просто отдавался ощущению этого великолепного вечера и, сам того не замечая, уже начинал грезить о царевне-невидимке, ради которой подвергался таким неслыханным бедам.

Невольно он запел, и звуки нежной любовной датской песни огласили притихший сад.

Но вот песня кончена; снова все тихо вокруг королевича, и только раздаются шаги его по влажному песку в березовой аллее.

Что это? Как будто кто позвал его, будто чей-то тихий, странный, нежный голосок произнес по-русски: «Королевич!»

В нескольких шагах от него мелькнуло что-то, и среди дымки вечера он различает небольшую стройную женскую фигуру.

Он даже протер себе глаза, так явление это было странно, почти невозможно. Но нет, небольшая женская фигура к нему приближается, вот она перед ним. Он видит премиленькую девушку, почти еще ребенка, с быстрыми, живыми любопытными и смелыми глазами.

— Королевич, ты меня понимаешь? — спрашивает она.

Его сердце так и забилося, будто хочет выпрыгнуть из груди. Он так счастлив, что может ей ответить: «Понимаю». Он хочет спросить ее: кто она? откуда? Живое ли она существо или призрак? Но он молчит, глядит на нее во все глаза, слушает, а она ему шепчет:

— Я от царевны Ирины Михайловны, я служу ей... Вот уже пятый вечер я здесь, перелезаю через забор и тебя поджидаю. Вчера я видела тебя издали, но с тобой были люди, и я притаилась, не смела идти. Нас никто не слышит?

— Никто нас не слышит, никто, прелестная девица! — прерывающимся голосом, стараясь выговаривать русские слова понятнее, яснее, отвечает Вольдемар.

— Царевна приказала мне тебе кланяться, — шепчет Маша и при этом так мило улыбается, так смело и плутовски глядит на королевича, что он едва удерживается, чтобы не обнять и не расцеловать ее. — Царевна приказала спросить о твоём здоровье, — между тем продолжает бесенок, — царевне бы хотелось повидаться с тобою...

Он молчит, он до того изумлен, так растерян, что ему кажется все это сном. Вот-вот он очнется — и нет перед ним этого милого призрака.

— Возможно ли это? — проговорил он. — Ты не обманываешь меня, девица?

— Вот те Христос, не обманываю! Говорю чистую правду.

Маша перекрестилась.

Приходится верить невероятной действительности.

— Скажи царевне, что я благодарю ее, кланяюсь ей, желаю ее видеть. Для того чтоб видеть ее, готов на всякие опасности, готов умереть.

Маша в восторге. Вот это она понимает — ведь и она тоже не боится никаких опасностей, и она тоже готова умереть, лишь бы только исполнить то, что задумано в голове, что загорелось в сердце.

— Как же, где я увижу царевну? — спрашивает Вольдемар.

— Не знаю я, ничего еще не знаю, — отвечает Маша и все лукаво улыбается, все ласкает его своими блестящими глазами. — Но я буду думать, мы придумаем, мы все устроим, мне надо было только узнать, хочешь ли ты... нет, я была уверена, что ты хочешь, но мне надо было тебя видеть, говорить с тобой... теперь я все знаю... Я снесу твой поклон царевне. Если бы ты знал, королевич, какая она красавица, царевна!

— Я знаю, — отвечал Вольдемар, бессознательно любясь Машей, которая в эту минуту для него как-то странно сливается с царевной.

Неподалеку раздаются голоса, слышатся шаги.

— Прощай, — быстро и испуганно шепнула девушка.

— Когда я тебя увижу? — спрашивает королевич, кидаясь к ней.

— Скоро!.. Завтра... — расслышал он, — об эту же пору...

Мгновение, и нет никого. Как проворная белка взобралась она на невысокий бревенчатый забор и исчезла по ту сторону.

Это неожиданное приключение имело на Вольдемара огромное влияние, оно совершенно изменило всю внутреннюю жизнь его. Тоска и скука пропали бесследно. Он почти всю ночь не спал и грезил о своей невесте. Только этот неведомый чудный образ то и дело сливался с образом хорошенького бесенка, посланного царевной.

И бесенок, явившийся так фантастично, среди прозрачного сумрака летнего вечера, представлялся, конечно, гораздо более прелестным и соблазнительным, чем был в действительности.

Ведь с самой Вильны королевич не видел ни одного молодого женского существа! К утру, еще и не помышляя изменять своей невесте и мечтая о ней, он все же был уже совсем влюблен в ее посланницу. Никому не проговорился он ни словом и с сердечным замиранием ждал вечера.

Если Вольдемар, навидавшийся на своем недолгом веку чего угодно, так волновался, — можно себе представить, в каком состоянии была Маша, а еще более того царевна.

Быть может, кому-нибудь покажется просто невероятным такое приключение в тереме, среди семнадцатого века, а между тем здесь рассказывается только самая невинная из теремных историй.

Стены московских теремов, а царского в особенности, если бы кто порасспросил их и умел их слушать, могли рассказать немало удивительных историй, доказывающих пылкость воображения, хитрость, изворотливость и поразительную смелость теремных затворниц. Чего никогда и в голову бы не пришло женщине, поставленной в иные условия жизни и не лишенной известной свободы, то не только приходило в голову, но и тотчас же исполнялись, со всею силою женской страстности, русскими затворницами.

Требования природы во все века — одни и те же и если им не дается естественного простору — они находят себе самые невидимые лазейки и просачиваются через них с энергией и силой, по меньшей мере равной силе задерживающих препятствий.

Конечно, в старом русском тереме выросло достаточное количество женщин неспособных на борьбу и поэтому осужденных

безропотно подчиняться всем требованиям обычаев. Такие женщины, по большей части, жили день за днем, уходили в узкие материальные интересы. Если они страдали, то страдания их были бессознательны, как страдания животных, рожденных и выросших в клетке, не знающих, что есть иная жизнь, что где-то, далеко, шумит дремучий лес со своим привольем, со своею вечной, манящей тайной.

Встречались также иные характеры, иные организации, в которых подчинение существующему складу жизни не было признаком бессилия и узости умственного кругозора. Такие русские женщины старого времени глядели на свою трудную, малорадостную жизнь как на подвиг.

«Темна женская наша доля, — говорили они в ответ на ропот и слезы прибежавших под их защиту и за их советом, — недаром про долюшку эту жалобные песни сложены, а все же таки не след нам роптать, гневить Господа Бога. Все мы должны претерпеть ради души спасения. Счастье-то да радости не здесь, а там, где нет болезней и воздыхания. Да и здесь не все ж таки горе одно. Коли ты замужем, будь ему верной, покорной женой, душу свою за него положи да за детушек, живи, дыши ими, и ох как дышаться-то легко тогда будет! Ну, а коли нету у тебя ни мужа, ни детушек — живи для Бога, молись Ему, отдай себя делам добрым...»

Под влиянием таких женщин, а их было немало, развивалось и крепло истинное благочестие, глубокая и непреоборимая вера. Эта вера, со всеми ее дарами, не только давала возможность жить, но и наполняла, по-видимому, однообразную и темную жизнь богатым внутренним содержанием и светом. Эта вера творила иной раз чудеса, поднимала русскую женщину из ее приниженности и безответности; она-то охранила ее от вырождения, пронесла «живую» сквозь века испытаний и открыла ей широкую, плодотворную будущность.

И пока русская женщина крепка в вере, пока живет, чувствуя себя под отеческим Божьим оком и не забывая о земных своих задачах, в лучшие минуты стремится к небесной отчизне, — она не погибнет, не выродится в уродливое, болезненно-преступное создание, а, расцветая все краше и краше, будет играть видную и прекрасную роль в истории человечества.

Однако среди бессильных, отупевших существ, способных только на животные проявления, поскольку это им разрешалось, среди

женщин, богатых верою, терпением и сознательными семейными добродетелями, всегда встречались представительницы третьего типа — живые, страстные и беспокойные натуры.

Они уж так рождались живыми, страстными и беспокойными: теремное воспитание не могло уничтожить их природных, врожденных особенностей, клетка только портила их, извращала их инстинкты, зачастую превращала их в существ хитрых, лживых, способных на всякое тайное преступление ради достижения своих целей.

Русская девица того времени, принадлежавшая к этому третьему типу, едва придя в возраст, являлась живым протестом всему складу теремной жизни. Она не могла примириться со своей обособленностью, отчужденностью от мужского общества. Если б ей дана была возможность вращаться среди мужчин — она, быть может, удовлетворилась бы этим, удовольствовалась бы мужской оценкой своей красоты и хранила бы сердце до прихода истинного суженого, на всю жизнь Богом данного и добровольно, по собственному влечению, ею избранного.

Но ведь она знала, что, выдавая ее замуж, о влечении ее не спросят. «Выдадут за немилого, за постылого!» — жалобно пела она в минуты мечтаний.

Ей же хотелось милого, дружка сердечного, и начинала она стремиться к нему, искать его всеми мерами, всеми хитростями и выказывала при этом искании поразительное упорство, невероятную смелость. Препятствия только прибавляли ей силы и изворотливости. Начиная с самых идеальных представлений, путая в себе самые чистые чувства, она, после первого трудного шага, после первого греха по понятиям терема, начинала чувствовать себя преступницей и говорила себе: «Ну, пропадать так пропадать! Все равно не простят, коли узнают. Значит, так тому и надо быть. За семь бед — один ответ!.. По крайности потешу свою душеньку, чтоб было что вспомнить, чтоб было за что страдать, о чем лить реки слезные!..»

При таком взгляде она уж не знала себе удержу, «тешила свою душеньку» и потом, когда все выходило наружу часто «лила реки слезные» в тесной и сырой монастырской келье. Точно так же поступала, только, может быть, с еще большей смелостью отчаянья,

жена, которую выдали против воли за «постылого». Главное же, чем больше было препятствий, тем смелее становилась любовная драма.

А препятствий всего больше было, конечно, в царском тереме. Там вырастали, под тройной охраной, царевны. Для них положение боярышень и дочерей купеческих представлялось чуть ли не идеалом запретной свободы. Для них все оказывалось недозволенным. Наконец, и мужа, достойного их, найти было трудно, а потому, в большинстве случаев, царевна готовилась к вынужденно одинокой жизни. Таким образом, немудрено, что некоторые царевны боролись со своей долей, со своей печальной судьбой не на живот, а на смерть...

Шереметев в последнее свое свидание с королевичем Вольдемаром говорил ему, убеждая его не сердить царя, принять православие и не требовать отпуска.

«Быть может, ты думаешь, что царевна Ирина Михайловна не хороша лицом? Так успокойся — будешь доволен ее красотой; также не думай, что царевна любит напиваться допьяна; она девица умная и скромная, во всю жизнь свою ни разу не была пьяна!»

Но достоинства юной невесты далеко не исчерпывались этим характерным панегириком. Быть может, глядя на других, она от скуки когда-нибудь и хлебнула бы лишнее, только мама, княгиня Хованская, этого бы ни за что не допустила, ибо сама была женщина непьющая и на сей счет весьма строгая. Ирина имела характер ласковый, большую доброту сердца, всех она жалела, за всех готова была просить, всех прощать, всем отдавать все, чем сама владела.

Про нее прислужницы и ближние боярышни говорили: «Уж добра же, добра наша царевна, не будь она царевной, не имей всего вдосталь да распоряжайся всем по своему изволению, кажись, для бедного человека последнюю сорочку бы с себя сняла да так, нагишом, по улице бы и побежала!»

Они подсмеивались, эти ближние боярышни и прислужницы, но в их подсмеиванье звучала невольная симпатия к царевне.

Такие добрые девушки бывают обыкновенно и сердцем нежны и горячи; любя всех, всех жалея, они чувствуют влечение и к любви страстной, полюбив, жертвуют всем для любимого человека, делаются сильны и смелы. Такие девушки очень склонны к мечтательности, воображение у них богатое и пылкое, чувствительность их возбуждается быстро, потрясает их сильно, и переход от

чувствительности к часто бессознательной чувственности совершается незаметно, естественно, сам собою.

А что какова женщина в наше время, такова была она и во все времена, в этом не может быть никакого сомнения. Время, нравы и обстоятельства имеют, конечно, большое, но все же, главным образом, внешнее значение — внутренние человеческие свойства и проявления их остаются неизменными на многовековом пространстве. Не будь этого — древние памятники человеческой жизни оставались бы для нас непонятными. Не будь этого, Шекспир, несмотря на свою гениальность, не мог бы создать таких лиц, которые и по сей день живы, которых мы встречаем и теперь и узнаем, забывая всякие «анахронизмы».

Неизвестно, как бы отнеслась царевна к появлению в Москве королевича Вольдемара, до чего бы дошла она своим умом, если бы возле нее не оказалось бесенка Маши. Но бесенок был на лицо тоже такой добрый, или, вернее, способный на всякое добро и зло бесенок, какой может создаться во всякое время и во всякой обстановке. Чего по воспитанию и положению еще не хватало Ирине — смелой инициативы того у Маши было столько, что хоть отбавляй.

Она сразу, еще до приезда королевича, овладела царевной; теперь же просто отождествилась с нею, они были одно существо...

Когда Маша вернулась со своей опасной прогулки и прошмыгнула в терем, было уже поздно, и она не могла увидаться с царевной. Пробраться в ее опочивальню ей тоже не удалось. Настасья Максимовна, искавшая весь вечер бесенка и не доискавшаяся, поймала его наконец за ухо в одном из коридорчиков. Не говоря худого слова, за ухо же, свела она Машутку в темный чулан, пихнула, заперла дверь чулана на ключ и внушительно объявила:

— Тут и сиди до утра, полуночица! Другой раз не будешь пропадать неведомо где весь вечер... Чтоб тебя крысы за ночь съели!

И ушла.

Маша, вся еще трепетная от смелости и удачи, вся еще полная впечатлений свидания и беседы с королевичем, упала в темноте на какой-то довольно мягкий узел, высунула язык и состроила такую гримасу, что Настасья Максимовна, кажется, убила бы ее на месте, если бы только могла вообразить себе нечто подобное, несомненно относившееся к ней самой и ни к кому более.



«Ну и что же! — думала Маша. — И посижу до утра, и не съедят меня крысы, а завтра, хоть ты тут лопни, с царевной переговорю и все устрою тут же, у вас под носом... а вы только глазами будете хлопать!..»

Она почесала и потерла себе разгоревшееся от неожиданной ласки Настасьи Максимовны ухо, свернулась калачиком на большом узле, как истый котенок, и вдруг сразу, тоже как котенок, заснула крепким, сладким сном — следствие юности, усталости и пережитых за этот вечер волнений.

Строгая постельница сдержала свое слово, так и не выпустила провинившегося бесенка до утра из чулана. Да и утром, в хлопотах, не сразу о нем вспомнила.

— Машутка, Машутка! — звала она, выходя в коридорчик и заглядывая направо и налево. — Опять пропала, анафемская девчонка!..

Но тут Настасья Максимовна хлопнула себя по лбу:

— Матушки, да ведь никак я ее в чулан заперла!

Подошла к чулану, отперла дверь,пустила свету и видит: спит Машутка на узле, в клубок свернувшись, спит и похрапывает.

Еле-еле растолкала ее Настасья Максимовна. Вот наконец вскочил на ноги бесенок, глаза кулаками протирает, потягивается и никак понять не может, что это такое?

— Да ну тебя, вылезай, что ли! Беги умываться-то!

А самой вдруг с чего-то жалко стало бесенка.

— Чай, проголодалась?... Как умоешься да приберешься, иди уж ко мне, там у меня всего осталось...

Маша убежала, а Настасья Максимовна пошла в свою светелку, выложила на стол пирог, краюху хлеба, кувшин с молоком, поставила и стала дожидаться. Когда Маша робко вошла, она велела ей сесть к столу и с видимым удовольствием следила за тем, как девушка ест.

— Молока-то, молока побольше пей, в твои годы молоко на пользу большую, здорово оно, от него тело растет и белеет... А молоко-то чудесное, коровушки уж вешней травки отведали, — говорила постельница таким тоном, будто это совсем и не она чуть не оторвала у Маши ухо, в чулане на узле ночевать ее заставила и пожелала, чтоб ее съели крысы.

Между тем Маша, отлично выспавшаяся и свежая, розовая от умыванья, быстро соображала все выгоды своего положения.

«Максимовна-то подобрела, — думала она, — видно, совесть в ней заговорила... Ишь, ведь меня улещает, потчует. Ну и пусть! Значит, нынче по пятам за мною бегать не станет, а мне только того и надо!..»

Она делала умильную рожицу, наелась и напилась до отвала, потом встала из-за стола, утерла себе рот рукою и низко поклонилась Настасье Максимовне.

— Ну, сыта? Богу-то, Богу помолилась? Где уж, чай, да и времени не было... так ты хоть теперь...

Маша послушно подошла к киоту с образами, стала креститься и класть земные поклоны. Трудно сказать, была ли она в молитвенном настроении, но поклоны ее и продолжительность молитвы произвели на Настасью Максимовну хорошее впечатление. Она глядела на Машу с удовольствием и при этом бессознательно любовалась ее грациозной, стройной фигуркой.

Наконец девушка кончила молитву, подняла свои хорошенькие глаза, в которых теперь выражалась кротость, на Настасью Максимовну и тихо сказала:

— Царевна велела мне быть у нее пораньше... Никак я уж и опоздала... браниться она будет.

— Это царевна-то браниться? Хорошо бы оно было, если б она тебя хоть разок побранила! Да нешто она браниться умеет? Потакать тебе да баловать тебя, это ее дело... Уж иди, не мнись, уж иди себе, коли тебе точно от царевны приказано!

Маша не заставила себе повторять этого и мигом очутилась у двери царевниного покоя.

Вот сейчас, сейчас все она расскажет царевне! То-то обрадует!

Вошла и сразу остыла, опустила глаза и затаила дыхание: рядом с царевной сидела княгиня Хованская и вышивала в царевниних пяльцах.

«Вот тебе бабушка и Юрьев день! — подумала Маша. — Кикимора расселась, того и жди, надолго, ведь это она любит... от пялей-то ее и не оторвешь!..»

Маша низко поклонилась, подошла к руке царевны, а потом и княгини-мамы, которая, вся погрузясь в свою работу, не обратила на нее особого внимания.

— Ты за уроком? — спросила, вся вспыхнув, царевна, а глаза ее, устремленные на Машу, говорили совсем другое. «Где пропадала? Отчего вчера тебя вечером не было? Отчего не пробралась ночью? Да и теперь почему пришла так поздно? Что случилось? Не удалось,

видно? Я весь вечер, всю ночь, все утро промучилась, тебя дожидалась!» — говорили глаза царевны.

— За уроком, царевна, по твоему приказу, — ответила Маша почтительным шепотом, стала за спиной княгини и, почувствовав себя в безопасности, совсем преобразилась.

Она кивнула головою, сделала счастливое лицо, схватила себя за ухо.

Царевна отлично поняла: «Все благополучно... самые чудные вести... Не была до сих пор, потому что Максимовна задержала и опять пришлось пострадать уху».

Царевна так вся и просияла, забыв даже пожалеть о бедном вечном страдальце, об ухе своей подруги.

Она бросила мгновенный взгляд на княгиню и едва заметно передернула плечом: «Видишь, сидит, пожалуй, уйдет не скоро! Вот наказание-то!»

«Кикимора!» — совершенно ясно проговорили глаза бесенка.

Минуты с две продолжалось молчание. Княгиня прилежно не поднимая головы, вышивала, искусно нанизывая на шелк блестящие бисеринки.

Вдруг Маша, вздрогнув, бросила торжествующий взгляд на царевну. Вздохнула она раз, вздохнула еще глубже, еще слышнее другой.

— Чего это ты вздыхаешь? — спросила царевна.

— Королька жалко! — с новым вздохом печально выговорила Маша.

Княгиня оторвалась от работы, обернулась, взглянула на девушку и быстро спросила:

— Что Королек? Про что ты говоришь?

Дело в том, что Королек был любимый царицын попугай, которого выучили, каждый раз как царица проходила мимо клетки, кричать: «Здравствуй, матушка-царица, ты царица, а я заморская птица!»

— Да как же не пожалеть-то его, княгинюшка?! — печальным голосом, чуть что не со слезами на глазах стала объяснять Маша. — Ведь даром что он — птица, а все ж таки у него чувства есть и ему очень больно...

— Что больно? Говори толком! — совсем встревожилась княгиня.

— Иду я и вижу, — продолжала Маша. — вижу я, дурка-арапка подобралась к клетке, отворила дверцу, руку просунула и выщипывает у него перышки, а Королек-то кричит не своим голосом: «Больно, ой, матушки, больно!»

— Да ты не врешь?...

Маша сделала недоумевающее, изумленное лицо.

— С чего ж это я врать стану! Неужто врать можно!

— Ну, уж я ж эту арапку! Уж я ж ее! Не впервой замечаю, что она все что-то с Корольком возится... Не дай Бог замучает его, захиреет он, что тогда царица-то скажет. Вот так народец... Отвернись только, и того и жди всякой напасти! — Княгиня, говоря это, поднялась с места и быстро вышла из покоя.

Маша крепче приперла за нею дверь и засмеялась, кидаясь к царевне.

— А у Королька-то перышки все целе-е-ехонькие!.. А арапке-то задаром доста-а-анется! — с блаженным выражением в лице протянула она.

— Зачем же ты это, Машуня?! — упрекнула царевна. — Нешто тебе не жаль арапку?!

— А то что же, жалеть мне ее, что ли! Благо она на язык мне подвернулась, пусть и отдувается! Я ей пряничка, леденчика за это дам, смерть она до сладкого охотница, кабы не она, век бы нам княгиню-то не выжить...

Царевна потеряла всякую жалость к дурке-арапке и с шибко забившимся сердцем, почти беззвучно спросила Машу:

— С чем же ты? Говори скорее! Неужто вчера удалось тебе?

— Удалось, удалось, моя золотая царвна, все удалось, как по писаному! — кипела и трепетала от восторга Маша. — Наконец-то вчера вечером видела я королевича...

— Ох! — даже тихонько простонала Ирина, схватываясь рукой за сердце.

— Да и не только видела, но и беседу с ним вела.

— Что ты? Не верю я... да и как же ты с ним могла беседу вести, ведь он немец... по-нашему, сказывали, не понимает...

— Ан и соврали люди! Как еще понимает-то... как еще говорит-то!.. Получше Королька говорит, иногда только слово какое у него не выговорится, а все понять можно...

— Ну...

— Красавец он какой!..

Маша зажмурила глаза и развела руками.

— Да не томи ты меня, Машуня, и, Бога ради, не ври, говори все как было, ничего не пропусти, только и не прибавляй ничего! — шептала Ирина, крепко сжимая Машины руки и впиваясь ей в глаза затуманившимся, влюбленным взглядом.

Маша стала передавать быстрым шепотом все, что было с нею, изо всех сил стараясь ничего от себя не прибавить и не пропустить никакой подробности.

Ирина то вспыхивала, то вся холодела.

— Как же нам быть теперь? Что ж ты ему нынче вечером скажешь? — наконец проговорила она, умоляюще глядя на разгоревшегося бесенка и с замиранием сердца ожидая его вдохновения.

— А скажу я ему, что если я могла вырваться из-под надзора Максимовны, да и не раз вырваться, а каждый вечер вырваться, так он и подавно, королевич-то, может добраться до забора нашего садочка, а уж там будет мое дело, дорогу я ему укажу, чай лазить-то он не плоше моего мастер! — объявила Маша.

— Что ты! Что ты! А забыла, ведь вокруг их двора немецкого стража понаставлена, чтобы не сбежал королевич! — в ужасе прошептала Ирина.

— Кабы стражи не было, кабы мог он среди бела дня в колымаге золоченой к нам подъехать, так и толковать нам было бы не о чем! — засмеялся бесенок. — Ведь вот он говорит: умереть, мол, готов за царевну, только чтобы повидать ее... ну, так чего ж тут!. Да и совсем дело простое: откуда я у них через забор перелезаю, оттуда и он вылезет, какой дорогой я домой возвращаюсь, той дорогой и он пойдет... Матушки! — вдруг вскрикнула она. — Что такое я придумала-то! И как это до сей минуты не догадалась?

— Что еще такое? — так и впилась в нее глазами царевна.

— А то, что в садочке опасно, да и неведомо еще, какова погода стоять будет... Лучше я вот что: я его бабой одену да в тот чулан приведу, где ночевала нынче... от чулана-то и выход в двух шагах... и никого там не бывает... на что ж лучше!.. Вот и придумала!

Но Ирина побледнела.

— Нет, нет... Боже сохрани! Как такое можно..., его сюда! Машуня, ты с ума сошла... Ведь ежели накроют... смерть и ему, и мне, и тебе...

— А ты нешто боишься смерти? — весело спрашивала Маша. — По мне вот, все равно: умирать так умирать... Да и какая тут смерть? Жутко вот... а все же... Тем-то и хорошо, что жутко!..

В конце концов она добилась своего, получила согласие царевны и, когда солнце зашло, когда стало понемногу смеркаться, с большим узлом в руках ускользнула из терема.

Точно так же, как и вчера, тихий и ясный вечер. Как и вчера, королевич бродит один в березовой аллее. Вот чутким ухом слышит он шорох. Он спешит к забору. Вдруг к самым ногам его падает узел. В недоумении он отскочил, потом взглянул наверх и увидел над забором улыбающееся хорошенькое лицо царевниной посланницы. Миг — она ловким, быстрым движением прыгнула с забора. Еще миг — и она очутилась в его объятиях, и он жадно целовал ее, сам не понимая, что делает.

Наконец она тихонько высвободилась и лукаво глядела на него, качая головою.

— Ах, королевич! — проговорила она, улыбаясь. — Ты, верно, принял меня за царевну, а я всего-то бедная девчонка-сиротка... и мне каждый день дерут уши...

Он пришел в себя, но все же глядел на Машу нераскаянным грешником.

— Это что? — спросил он, указывая на узел.

Девушка проворно развязала узел и стала вынимать из него принадлежности женской одежды. Королевич глядел с изумлением.

— Одевайся! — повелительным тоном произнесла Маша.

Королевич сразу все понял и, не говоря ни слова, не теряя ни одной секунды, стал исполнять ее приказание. Она ему помогала и тихонько смеялась.

Невидимки-бесенята, любители всяких смелых шалостей и полуневинных шуток, умеющие ловко отводить глаза людям и дурачить их всяким манером, очевидно, добросовестно помогали своей приятельнице и родственнице — Маше.

Как задумала она, так все и вышло по писаному. Впрочем, ведь подобные проделки иной раз и без помощи бесенят с рук сходят.

Не прошло и пяти минут, а королевич уже превратился в весьма изрядную девицу.

На нем оказалась длинная, до пят, и широкая сорочка из набивной индийской ткани и с такой невероятной длины рукавами, что он, собирая их вверх, думал, что и конца им не будет.

Поверх сорочки Маша надела на него телогрею, а висящие рукава ее она связала назади за спиною в перекладку друг на друга.

Потом она нагнула ему голову и надела столбунец — высокую цилиндрической формы шапочку с прямой тульею, а поверх нее набросила покрывало.

Этим наряд был окончен.

Вольдемар окутал себе лицо фатою, перелез вслед за Машей через забор, хотя это и оказалось не особенно удобным в новом, непривычном для него наряде.

Он огляделся и увидел в полумраке вечера, что они находятся среди пустыря. Однако в недалеком расстоянии начались жилища.

— Ты не бойся, королевич. — запыхавшись, едва переводя дыхание, вся дрожа от волнения и восторга, поясняла Маша, — я тут, по этой дороге, каждый камушек, каждую песчинку знаю, проведу тебя все задворками, все задворками, никому мы на глаза не попадемся...

Вольдемар ее понял и засмеялся.

— Я не боюсь, веди меня! — сказал он.

И действительно, никакого признака робости и смущения в нем не было. С этим неожиданным милым путеводителем он готов был бежать хоть в преисподнюю.



Ему только неприятно было сознавать себя в женском наряде, в своем обычном виде, с оружием в руках, он чувствовал бы себя еще гораздо свободнее и смелее. Но он, конечно, понимал, что обстоятельства требовали превращения его в москвитку, и весело покорился этим обстоятельствам.

Через пустыри и по задворкам, с каждым шагом приближавшим их к царскому терему, мчалась легкая небольшая фигурка Маши, и за нею едва поспевала чересчур высокая в женском платье фигура королевича. Только раз в пути из-под какой-то подворотни кинулась было на них собака, но грубый мужской голос позвал ее, и собака с рычанием влезла обратно в подворотню.

Вот они перед забором. Забор этот довольно высок. Маша обернулась и шепнула:

— Смотри! Куда я — туда и ты! — и как белка начала карабкаться по толстым, выступавшим бревнам.

Королевич не отставал от нее и тоже быстро карабкался, приподнимая платье, стараясь не разорвать его.

Перелезли через забор, прислушались и прыгнули на землю.

Они снова в саду, в густом, совсем заросшем саду.

Вдоль забора, по узкой тропинке, на каждом шагу останавливаясь, повела королевича Маша.

Между тем почти уже совсем стемнело.

Перед ними высокая стена; из маленьких окошек мелькают огоньки.

— Это и есть наш терем, — шепчет Маша, — постой, не шевелись, жди меня. Я пройду сначала, посмотрю, все ли тихо, чтобы кому на глаза не попасться.

Она исчезла.

Он стоял не шевелясь, затаив дыхание. Наконец устал так стоять. Ему казалось, что прошло уже очень много времени, а Маша не возвращается.

«Ну что, коли она и не вернется? Может быть, она насмеялась надо мною, эта хорошенькая девочка? — вдруг подумал он. — Может быть, это ловушка! Ведь я здесь стою, придут люди, схватят меня... ну, так что ж!..»

Он ощупал под широкими складками своего женского платья кинжал и совершенно успокоился. Он решил ждать до глубокой ночи,

а затем, перед рассветом, если девушка не придет, он перелезет через забор, сбросит с себя платье и уже в своем обычном виде вернется.

Дорогу он хорошо запомнил, вообще на места у него была всегда отличная память.

Однако только от нетерпения и волнения ему казалось, что много прошло времени, прошло всего с полчаса, не больше. Он услышал наконец возле себя шорох, расслышал шепот Маши. Она объясняла ему что-то, но так тихо, так быстро, что он не понимал ее.

Она объяснила, что вошла в терем благополучно, нашла дверь отпертою, да только тут же сейчас и повстречалась с постельницей, которая шла запереть дверь на ночь.

Надо было отвести глаза этой постельнице, так заговорить ее, чтобы она оставила ключ в двери, а не унесла с собою, и это удалось Маше.

Тогда нужно было выждать, чтобы все кругом угомонились, чтобы все ушли подальше, и вот теперь можно идти без опасения кого-либо встретить.

Маша в темноте взяла королевича за руку, и они бесшумно двинулись вперед. Маша нащупала низенькую дверь и тихонько отворила ее. Она еще днем, улучив удобную минуту, хорошенько смазала дверные петли, чтобы не скрипели.

Они вошли. На королевича пахло теплом жилого помещения. Совсем темно. Он подвигается вперед неслышно, шаг за шагом. Маша крепко держит его руку своей маленькой, горячей рукой.

— Стой! — шепчет она.

Он остановился.

Маша опять отворила какую-то дверцу и шепнула:

— Наклонись! Лезь вперед!

Но он вдруг так растерялся, что сразу ее не понял. Тогда она сама наклонила его и куда-то впихнула, заперев за ним дверь.

— Когда увидишь в щелу свет, приотвори тихонько дверь, смотри и жди! — расслышал он тихий шепот.

Он в полной тишине и темноте. Опять ему стало казаться, что проходит чересчур много времени, а он ничего не видит и не слышит.

Но вот среди этой кромешной темноты мелькнула тоненькая полоска света. Да, он ясно различает свет сквозь неплотно притворенную дверцу.

Он не совсем ясно понял то, что сказала ему Маша, но инстинктивно приблизил лицо к дверной щели. Он увидел за низенькой дверцей того темного, тесного помещения, где он находился, невысокий длинный коридор. Из глубины этого коридора медленно движется с лампадкой в руке какая-то фигура. Он вглядывается и узнает Машу.

Она, осторожно поставив лампадку на низенькое окошечко, в двух шагах от дверцы, и шепнув: «Жди, не шевелись», неслышно, как призрак, удалилась.

Прошло несколько мгновений, все тихо. Вот шаги на этот раз тяжелые, громкие шаги.

«Царевна!» — подумал Вольдемар, и сердце у него шибко забилось. Он так и впился глазами в приближавшуюся фигуру. Вот уж ясно может он различить ее. Он приотворил дверцу и видит: перед ним плотная, средних лет женщина в теплом, ваточном шугае.

Он не знал, что и подумать. Ему, конечно, не могло и прийти на мысль, что это царевна. Он замер и ждал, что будет, а было вот что.

Полная пожилая женщина, дойдя до чулана и видя дверцу неплотно запертою, взялась за нее с очевидным намерением отворить и заглянуть в чулан. Огонек лампадки хоть и не очень ярко светил, но все же достаточно для того, чтобы женщина эта сразу увидела Вольдемара.

Он мгновенно сообразил всю опасность своего положения, крепко ухватился за ручку двери и прихлопнул ее к себе. В это время, от движения его, сзади что-то с шумом упало на пол, что-то очень тяжелое.

Пожилая женщина взвизгнула не своим голосом и пустилась назад по коридору.

Опять все стихло. Он осторожно приотворил дверцу и решал, что же теперь лучше: остаться или уйти? Очевидно, перепуганная женщина расскажет, что кто-то забрался в чулан, и его увидят, но если идти — куда? В совершенных потемках проведенный Машей до чулана, он сразу теперь не мог сообразить даже, в какой стороне был выход. Однако, вероятно, он все же кончил бы тем, что стал бы искать этого выхода, если бы снова, вдали по коридору, не услышал шагов. Он остался за полуотворенной дверцей и видит: к нему приближаются две фигуры. Одна из них Маша, а за ней... Он смотрит во все глаза, и при бледном освещении лампадки перед ним все яснее и яснее чудный образ. Это она, царевна!

Разом забылось все. Пусть теперь приходит кто угодно, он ничего не помнит, не сознает, он видит только ту, которая давно уже грезилась ему в юных горячих мечтаниях, для которой он приехал сюда, оставив далеко за собою все, чем жил до сего времени, ради которой выносит теперь столько неприятностей, томлений...

Она еще его не видит. Она, вся трепещущая, остановилась, бросив умоляющий, почти отчаянный взгляд на Машу, а та ее ободряет ответным взглядом.

В один легкий прыжок бесенок у дверцы чулана и шепчет:

— Выходи, королевич!

Маша сама вывела его за руку и подвела к неподвижной, будто окаменевшей, царевне. Потом она взяла лампадку с окошечка и осветила ею их лица.

Их взгляды встретились, они разглядели друг друга, и обоим им показалось, что все их грезы ничто по сравнению с действительностью. Оба они поняли, что принадлежат друг другу.

— Теперь не надо света! — шепнула Маша и затушила лампадку.

Они в темноте, в объятиях друг друга. Темнота придает смелости, она отняла у них рассудок и всякое соображение, все исчезло, уничтожилось бесследно, не было ни прошлого, ни будущего, была только настоящая минута, чудная, блаженная, и эта минута будто остановилась, будто медлила и шептала им: «Пользуйтесь мною!.. Я готова долгие, долгие годы, целую вечность, стоять над вами, охраняя вас благоуханными крыльями, но я не властна в этом. Я промчусь и уже никогда не вернусь более... пользуйтесь мною!»

И они целовали друг друга долгими, беззвучными, безумными поцелуями, и конца бы не было этим ненасытным поцелуям, если бы голос Маши не вернул их к действительности.

— Ахти нам! Никак идет кто-то! — испуганно прошептала она, нащупала руку королевича, схватила ее, изо всех сил оттащила его от царевны и увлекла за собою. — Можешь один выбраться? — спрашивала она.

Резкая струя свежего ночного воздуха пахнула на его горевшее лицо.

— Можешь один вернуться? — тревожно повторила Маша.

Он сообразил, понял.

— Могу, — сказал он.

Она заперла за ним дверь, щелкнув в темноте ключом, помчалась по коридору.

Вот она почувствовала возле себя царевну, охватила ее за талию, и они побежали.

Они свернули направо, поднялись по лесенке и в то время, как уже были в безопасности, наверху лесенки, увидели, как внизу, по направлению к чулану, идут с фонарями. Вот прошли мимо, — и кто же? Сама Настасья Максимовна, а за нею несколько служанок.

Но наверху темной лесенки их, к счастью, никто не заметил. Они без всяких препятствий добрались до опочивальни царевны.

## XXVII

Разноцветные зажженные у киотов лампадки, мигая своими огоньками, придавали совсем фантастический вид тесным и низеньким теремным покойчикам. Только то там, то здесь из-за высоко взбитых перин широких кроватей слышался храп некоторых более или менее высокопоставленных особ царевниного штата, обязанных охранять ее опочивальню и в ночное время находиться неподалеку от нее.

Но ни одна из этих мамушек и нянюшек и не пошевелилась; дело было праздничное, со всякими угощениями, между которыми первую роль играли хоть сладкие, но все же сильно хмельные напитки.

Ведь недаром Шереметев уверял королевича Вольдемара, что его невеста ни разу в жизни не была пьяна!

Она-то пьяна не была, а вокруг нее пили изрядно, только делали это с рассуждением, обдуманно, норовили напиться к самому вечеру, напиться да и залечь на мягкие и высокие перины.

Спали, после царских медов и всяких брашен, сладко и крепко, спали всю ночь напролет, приятные сны видели, а к утру просыпались как встрепанные.

Это пристрастие теремных затворниц к хмельным напиткам, конечно, прежде всего объяснялось скукой и монотонностью их жизни и в них находило себе оправдание.

Избегали такого порока весьма немногие, так, например, старшая мама царевны, княгиня Хованская, не брала в рот хмельного. Но у нее была своя опочивальня.

Никто никогда не видал навеселе постельницу Настасью Максимовну, имевшую обычай по вечерам, когда все трезвые и хмельные залягут спать, обходить дозором терем.

Она и на этот раз поступила по обычаю. Но с ней случилось обстоятельство, перепугавшее ее чуть не до смерти.

Придя в себя с перепугу, она решила вернуться и осмотреть чулан, где происходит что-то неладное, но одной идти было боязно, и вот она разбудила всех служанок, которых только могла добудиться...

— Ну, царевна, прощай пока, я еще вернусь, а теперь надо скорее на свою кровать, — шепнула Маша Ирине, — авось успею вовремя. Ведь Максимовна-то не спит, бродит, да и не одна, почуяла, видно... непременно ко мне наведается. Как она ляжет-заснет, среди ночи опять проберусь к тебе, спать-то мне нынче совсем что-то не хочется...

Маша исчезла из опочивальни.

Бесенята, ее приспешники, подхватили ее, понесли быстро и неслышно мимо всех этих кроватей, с которых раздавался храп, донесли вовремя до уголка, где стояла небольшая, уже давно ставшая ей короткой кроватка. Она быстро, вероятно, опять-таки с помощью тех же бесенят, разделась и юркнула под мягкое, стеганое, сшитое из разноцветных кусочков одеяло.

Едва успела она это сделать, как чуткое ухо ее расслышало чье-то приближение. Вот приотворилась и дверь, и в нее заглянуло озаренное фонарем, недовольное, почти свирепое лицо Настасьи Максимовны.

Маша захрапела что было силы.

— Нет, тут она, дрыхнет, — сказала Настасья Максимовна кому-то.

Маша захрапела еще сильнее и потом простонала.

— Батюшки! Да никак ее домовой душит! Ишь ведь! Ишь!

Настасья Максимовна вошла, поставила фонарь на столик и стала будить девушку. Та едва удерживалась от душившего ее смеха.

— Ишь ведь! Да проснись ты, проснись!

Маша вскочила, открыла глаза и безумно глядела на Настасью Максимовну.

— Что ты, Господь с тобою, чего храпишь да стонешь?

Маша стала дрожать всем телом и стучать зубами.

— Настасья Максимовна, ты это? Ах, что было-то со мною! Сплю это я, и вдруг... будто упало что на меня, да огромное, да тяжелое, давит, душит...

— Ну, так и есть! Так и есть! — шептала Настасья Максимовна и заботливо перекрестила Машу. — Ничего теперь не будет, перекрестись, прочти «Да воскреснет Бог», и уйдет оно, не посмеет вернуться. Так ты давно заснула?

— Давно, Настасья Максимовна, еще не совсем смерклось, как сон меня стал клонить, я и заснула.

— А в коридоре ты не была?

— В каком?

— Ну, а там, где вчера-то я тебя поймала; не ты забралась в чулан да меня не пустила?

«Батюшки, да ведь это она на него наткнулась... до нас еще. Вот грозу-то пронесло!» — чуть громко не крикнула Маша.

Сознание огромной, но миновавшей опасности наполняло ее необыкновенной радостью и весельем.

— Бог с тобою, Настасья Максимовна! — сказала она. — Как же это мне быть в чулане, когда я здесь... да и была же охота! Или думаешь ты, что там, на узлах-то, спать больно приятно? Довольно и одной ночи, второй такой не захочется...

Настасья Максимовна ничего не сказала, еще раз перекрестила Машу, взяла свой фонарь и ушла, притворив дверь.

— Однако что же такое у нас творится? — говорила она дождавшимся ее служанкам. — Воля ваша, дело неладно! Ведь я, слава Богу, в своем уме, ведь я же знаю, что в чулане был человек, да и человек сильный, может мужчина. Я-то за дверь, а он как дернет к себе изо всей мочи... а там застучало...

— Да уж что толковать, — возразила одна из служанок, — домовой это шалит, некому другому. Сама знаешь, матушка, как тут мужчине забраться, дверь-то ведь на запоре.

— Да, хорошо, на запоре... — протянула Настасья Максимовна, — а ключ где? Ключ в двери!

— Да дверь-то ведь заперта?

— Так это ты говоришь, что заперта. Маху я дала, сама не осмотрела.

— Что ж это, матушка, сама я, что ли, заперла? — обиженно сказала служанка.

— А это тебе знать! Может, и заперла, и отперла, как тут на вас положиться! — ворчала постельница. — Идем опять. В сад выйти надо, может, след там есть. Так дело никоим образом невозможно оставить.

Настасья Максимовна, в сопровождении служанок с фонарями, пустилась в обратный путь и по теремным переходам и коридорам добралась до двери, через которую Маша провела королевича в терем.

Теперь Настасья Максимовна вынула из своего кармана ключ, сама отперла дверь и спустилась в сад. По ее приказанию служанки,



опустив фонари к самой земле, искали следов, но следов на влажном песке было много.

— Стой! — вдруг остановила их Настасья Максимовна, приседая на корточках к самой земле и ставя перед собою фонарь. — Ишь, так и есть! Это чей след? Нет, это не женский след, смотрите все, смотрите!

Все в один голос должны были признать след не женским, а мужским, и несомненно свежим, только что отпечатанным.

Шаг за шагом пошли по этому следу, он привел к забору.

— Это что же такое лежит? Видите, у забора-то что такое? — воскликнула Настасья Максимовна.

Все попятись, но она храбро, со своим фонарем, сделала несколько шагов вперед. Она наклонилась к земле и стала поднимать с нее женское платье.

— Что же это такое? Вор был! Здесь он через забор перелез, да не все, видно, уворованное захватил с собою, вот это и осталось. Чья эта одежда? Бери, сверни... да нет, стой, сама я снесу... Вор к нам забрался, только этого не доставало! Кто же это пустил его? Кто его выпустил? Кто дверь за ним запер? Кто ключ в двери оставил? Ну, девки, не пройдет это вам даром! Вот уж до чего дошло! Завтра разберу я это доподлинно, и несдобровать виновной, потачки не дам. Ишь ты, какое дело! Воров пропускают в терем...

Ее голос оборвался. Она вся прониклась ужасом сделанного ею открытия и, забрав найденное на земле платье, спешно пошла обратно в терем.

Служанки, молча и уныло, следовали за нею.

Они хорошо понимали, какая каша заваривается, какое начнется бесконечное дело. Поднимется следствие, будут притянуты все, будут в ответе, не ускользнет виновный сам, да и невинных за собою потянет; пытаться всех станут, плетьюми стращать, а от таких угроз как не наплетсти на себя, наплетешь неведомо что со страху.

## XXVIII

Долго не могла заснуть в эту ночь Настасья Максимовна, возмущенная, но в то же время и обрадованная, хотя и бессознательно, сделанным ею открытием.

Деятельная и энергичная по своей природе, она иногда уж чересчур скучала, просто тоска на нее находила оттого, что все вокруг нее шло тихо да гладко. Иной раз с тоски да скуки сама она невольно начинала придумывать какой-нибудь беспорядок, какого в действительности вовсе не было, начинала подозревать вещи, каких совсем не существовало, придиралась к подведомственным ей женщинам, доводя их этими придирадками просто до отчаяния.

А тут вдруг такое дело!

Надолго теперь его хватит, наполнит оно однообразные дни, однообразные вечера, будет о чем потолковать, судить, рядить и волноваться. Настасья Максимовна уже мечтала о том, как она будет добираться до виновников, какие хитрости пустит в ход.

Среди этих мечтаний, уже далеко за полночь, она наконец заснула.

Не спала и Маша. Прошлую ночь в чулане слишком хорошо она выспалась, а теперь разве можно заснуть? Она не напала на след воровства, не мечтала об интересном теремном следствии, не целовалась она с королевичем в темном коридоре, но ведь и ее задела своим крылом блаженная минута любви, остановившаяся над Вольдемаром и Ириной. Она пережила вместе с ними эту минуту, не отделяла себя от них. Она тоже любила, точно так же, как и ее царевна-подруга, только еще не понимала этого.

Долго-долго неподвижно лежала она с широко раскрытыми, устремленными в окружавший ее мрак глазами, и ей чудилось, будто над нею звучит какая-то сладкая музыка. В ней не было ни мыслей, ни представлений, ни определенных чувств, но вся она отдавалась неувловимому сладостному ощущению любви, дышавшей всюду, со всех сторон, всюду проникавшей.

Наконец, она несколько пришла в себя. Раздававшаяся над нею и в ней музыка затихла.

Она прислушалась, накинула душегрейку и наизусть знакомой дорогой, в сопровождении снова явившихся приспешников-бесенят, пронеслась в опочивальню царевны.

В соседних покойчиках из-под высоких перин раздается все тот же мерный храп. В опочивальне царевны тоже слышится что-то. Маша приостановилась в дверях на мгновение и поняла, что это слышится: это царевна плачет, неудержимо рыдает. Кинулась к ней Маша, обняла, целует, спрашивает:

— Что с тобой, золотая царевна? С чего ты это так плачешь? Зачем? Зачем? Вытри слезки, чего же плакать!

И сама Маша удивляется и никак не может понять, чего тут действительно плакать, ведь вот же ей не плакать, а смеяться теперь, плясать хочется.

Кое-как успокоила она своими ласками, своим нежным шепотом царевну и опять спрашивает: «Чего же ты плачешь?»

— Как же мне не плакать, — всхлипывая и снова готовая разрыдаться, отвечает Ирина. — Пойми, Машуня, ведь что мы с тобой наделали!

— Как что? Ничего! Все ладно, хорошо вышло, так вышло, как было задумано. Что такое, царевна? — изумлялась Маша.

— Да ты что думаешь, Машуня? Ты думаешь, со стыда я плачу, что он целовал-то меня, что я его целовала, эх, о стыде, о грехе я забыла, где уж тут о стыде да о грехе думать! Пусть душа прямо в ад идет, пусть дьяволы всю вечность меня терзают, жарят на раскаленных угольях, не страшусь я стыда, не боюсь я греха, не о том думаю, не о том плачу я!.. Что мы наделали! Где он теперь, мой голубчик? Провела ты его, как он вышел? Как выбрался? Да и это не то!.. Вот кабы не видала я его нынче, и ничего, что никогда бы не увидела... а теперь и не могу уж не видеть, и плачу, видеть его хочу скорее!

— Вот как! — тихонько засмеялась Маша. — Ну что же? Ну и опять его приведем сюда.

— Ведь подумай, Машуня, ни слова, ни одного малого словечка мы не сказали друг другу; подумай, Машуня, ведь только взглянула я на него, а ты лампадку затушила, не дала наглядеться.

— Я же и виновата! — шепнула Маша; прижимаясь к царевне.

— Да, тебе хорошо, — продолжала свой жалобный шепот Ирина, — ты его видала, ты его опять увидишь, ты говорила с ним

долго, много времени была с ним, а я...

— А ты?... Ты с ним всю жизнь будешь, царевна! Как тебе и на ум взбрело говорить такие речи? Что я? Я служанка твоя, раба твоя верная... не мой он, а твой...

Ирина не расслышала, не почувствовала, не поняла, что в этих последних словах ее Маши, этого беззаботного бесенка, вдруг прозвучала какая-то грустная, странная нотка.

— Полно же, перестань, что тут говорить слова напрасные, что тут причитать и жаловаться; лучше, коли не спится тебе, потолкуем о том, что будет. Вот подожди, скоро попируем на твоей свадьбе, царевна!

— Ах, Машуня, не верится мне такому счастью! Чудится мне — не бывать этой свадьбе.

— А мне вот так чудится, быть ей, и даже очень скоро.

— А коли он не захочет креститься?

— Может, вчера и не захотел бы, а сегодня как же так не захочет? Ну, скажи мне сама, царевна, нешто после сегодняшнего вечера можно ждать от него отказа?

— Так ведь об этом-то с ним и надо было перемолвиться, — сказала Ирина.

— Оно так, — соглашалась Маша. — Да что же ты тут поделаешь? Мы ведь и то чуть было его не погубили...

И она рассказала царевне о том, что поняла из слов Настасьи Максимовны. Та вся так и похолодела от ужаса.

— Машуня, да ведь это что же такое? Ведь его, того и жди, поймали! Боже мой, Боже! Где он? Что с ним? Чует мое сердце беду неминуемую... ох, чует!..

Теперь уж никак и ничем не могла Маша успокоить царевну. До самого света сидела она над нею, а когда забрезжилось, оставила ее всю в слезах, в необычайном волнении и страхе.

# **ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

Хоть и часто оказываются верными предчувствия любящего сердца, но на сей раз все опасения царевны были напрасны: с Вольдемаром ничего не случилось.

Сбросив с себя столбунец с покрывалом, телогрею и сорочку у забора и уже не стесняемый этим неудобным длинным нарядом, он быстро выбрался из сада, с пути не сбился, да и поднявшаяся луна пришла ему на подмогу. Час для Москвы был уже поздний. Все спали. Даже собака не залаяла на королевича из-под опасной подворотни. Когда он перелез через забор своего сада и очутился между своими, то и тут никто не обратил внимания на его долгое отсутствие.

Датчане, по обычаю, пировали: почти все были сильно навеселе, пели свои песни и играли на музыкальных инструментах. Вольдемар не присоединился к веселой компании, а прямо пошел в свою опочивальню и заперся. Он всецело находился под очарованием только что случившегося с ним приключения.

Он был безумно влюблен, насколько может быть влюблен молодой человек его лет в лунную тихую ночь и среди таких исключительных обстоятельств.

В своих чувствах он, конечно, не отдавал себе отчета, но если бы мог их анализировать или если б это сделал за него другой, оказалось бы, что неизвестно еще, в кого он больше влюблен: в царевну или в Машу.

Как бы то ни было, если бы к нему пришел теперь Пассбург с известием, что все улажено, что всех их хоть сейчас отпускают с честью обратно в Данию, он решительно ответил бы: «Я остаюсь здесь, никуда не уеду!»

Уже прошла ночь, прошла она в молодых любовных грезах, сменявшихся тоже молодым крепким сном. Поднялось над Москвою солнце, и при его ясном, спокойном, правдивом освещении исчезли все чары, все призраки летней ночи.

Влюбленность Вольдемара, конечно, не прошла, но наступивший день дал простор иным свойствам его характера, его сильной природы. Теперь он уж не ответил бы Пассбургу: «Я остаюсь здесь, я не еду», —

теперь, если бы посол объявил ему о возможности отъезда, он просил бы только обождать несколько дней и стал бы придумывать смелый план похищения царевны.

Если обстоятельства не изменятся, если его по-прежнему будут принуждать переменить веру, он умрет скорей, но этого не сделает. Никакая ночь, никакие любовные чары не заставят его быть малодушным, унизиться перед собою, сделать то, за что и он сам, и все честные люди могли бы презирать его...

Ведь вот эти москвиты, они народ дикий и варварский, никакого понятия они не имеют о том, что дозволено и что невозможно, а ведь как они стоят за свою веру, на все готовы пойти за нее! Они сами дают ему пример стойкости.

Но царевна... Лучше бы он ее не видел, лучше бы не было этой волшебной ночи! Однако она была, не во сне ему все пригрезилось... и теперь кончено!.. Как твердо он знал, что не уступит в вопросе о вере, так точно твердо знал и другое: не отступится он от царевны, она будет принадлежать ему. Как случится это? Как сумеет он примирить, по-видимому, непримиримое? Он не мог еще себе, конечно, представить, да и не до того теперь было. Когда он увидит «их» снова? Вот в чем состоял единственный вопрос, которым он был теперь полон.

Он ждал вечера, ждал нового свидания с Машей. Но к вечеру погода испортилась, все небо заволокло серой дымкой, пошел мелкий, частый дождик, предвещавший долгое ненастье.

Несмотря на этот дождик, Вольдемар часа три, а может, и больше, прокараулил в саду у забора, на заветном месте. Маша не пришла.

И на следующий день и вечер лил дождь, и опять, хоть и понимал, что это напрасно, караулил Вольдемар у забора.

Наконец дня через три небо прояснело и непогода миновала. Опять чудный вечер, теплый и влажный. Снова караулит Машу королевич, а ее нет как нет!

## II

Между тем, так как все переговоры не привели ни к чему, Пассбург и Биллей составили и понесли в посольский приказ грамоту с решительным требованием отпуска. Они просили, чтобы царь назначил им день для того, чтобы быть у царской руки на прощанье. Вместе с этим они настоятельно требовали, чтобы королевич непременно был отпущен вместе с ними.

С ответом на эту грамоту к послам явился Шереметев и от имени царя строго объявил им:

— Грамота ваша написана непригоже, как бы с указом. Таким образом полномочным послам к великим государям писать не годится, да и в грамоте совсем неразумно написано про королевича: ведь вы сами, послы, по королевскому приказу, подвели его к государю и отдали его во всю его государскую волю, а потому отпуску ему с вами не будет. Когда настанет пригодное к тому время, то государь велит отпустить к королю Христианусу послов его, только одних, без королевича.

— Но ведь это насилие, — ответил Шереметеву Пассбург. — Ведь так не только в христианских, но и в магометанских государствах не делается, и за это царское величество перед всем миром отвечать будет!

— Неладные ты слова говоришь, — спокойно возразил Шереметев, — никакого ответа его царское величество не боится, сам знает хорошо, что делает, и не тебе его, государя, учить.

Пассбург должен был убедиться, что всякие рассуждения и слова действительно в этом деле напрасны. Потолковав со своим товарищем Билленом, он просил Шереметева, чтобы это все было объявлено им письменно.

На это Шереметев согласился, и на следующий день датские послы получили грамоту от имени государя. В ней дословно было повторено все, что говорил Шереметев, и прибавлялось:

«А что станете делать мимо нашего государского величества, своим упрямством и какое вам в том бесчестье или дурно сделается, и то вам и вашим людям будет от себя, а без отпуску послы не ездят».



Послы очень хорошо знали, что без отпуску ехать действительно не годится, и последние слова царского ответа достаточно красноречиво говорили им о том, что, стоит им только шевельнуться, и над ними будет учинено самое грубое насилие.

В подобных обстоятельствах оставалось одно: снестись скорее с королем и от него ждать помощи.

Но в том-то и дело, что это оказывалось невозможным, никаких сношений королевича и послов с Данией не допускали. Каждого человека, приходившего из посольского дома, обыскивали и следили за ним шаг за шагом. Из Дании тоже не было никаких известий: очевидно, если и приезжали оттуда гонцы к королевичу, то их не допускали и задерживали как пленников.

Такое положение не могло продолжаться. Как ни старались себя веселить датчане, какие ни затевали попойки с пением и музыкой, но это помогало не много. Скрывать от посольских людей действительные обстоятельства уже не представлялось возможным. Все эти люди были очень преданы королевичу: ведь он сам себе выбирал штат свой и знал, кого выбирает.

Сначала они успокаивали себя надеждой, что все это временное недоразумение, что в конце концов все уладится, но теперь надежда их окончательно покинула. Все мало-помалу пришли к убеждению, что так как Вольдемар не может и не хочет отказаться от своей веры, то ему, а с ним вместе и всем, придется здесь погибнуть.

Самые смелые из посольских людей собирались и решили во что бы то ни стало бежать, добраться до Копенгагена и вызвать оттуда немедленную помощь. Ведь пройдет еще несколько дней, и это, пожалуй, уж будет поздно.

Когда решение окончательно созрело, люди были выбраны и подготовлены, обо всем этом известили королевича и послов. И Вольдемар, и послы не могли не одобрить такого плана.

Вольдемар оказался совсем растроганным. Ему чересчур было жаль этих преданных друзей и слуг, так как он не мог не понимать, каким страшным опасностям они подвергаются: ведь за ними будет погоня! А поймут их — не станут с ними церемониться.

— Лучше не делайте этого, не пытайтесь, — сказал королевич смельчакам, — на успех такого бегства нет надежды. Ведь вы не знаете этой страны, не знаете дорог, языка не знаете, только даром пропадете!

Но смельчаки отвечали:

— Пропадем и здесь даром. Нас много, не всех же переловят, не всех убьют, кто-нибудь доберется до Копенгагена, а ведь в том и дело, чтобы хоть один человек добрался.

Со слезами на глазах благодарил королевич своих верных слуг, крепко жал им руки, обнимал их. Пришлось ему принять их жертву и ради себя, и ради всех, кто с ним здесь оставался: другого выхода не было.

Датчане, в числе пятнадцати человек, приготовились, как могли вооружились и в третьем часу ночи вышли со двора королевича.

Они сразу наткнулись, конечно, на карауливших стрельцов, подошли к стрелецкому сотнику и стали его просить, чтобы он отпустил с ними стрельцов. При этом они объявили ему, что идут за Белый город, за Тверские ворота.

Сотник послал сказать об этом голове, но голова отказал.

— Разве за каким-нибудь дурным делом мы идем? Просто идем прогуляться, потому что засиделись здесь, и просим с собою стрельцов для того, чтобы указать нам дорогу. Разве мы враги ваши? Разве мы пленники?

— Ладно, немцы, не лопочите, сидите смирно, а мы вас сторожить будем. Вот коли выйдет приказ, так и отпустим на все четыре стороны, а теперь сидите!

Двое датчан хотели было проскользнуть мимо караула, но стрельцы их схватили крепко, скрутили им за спину руки. Другие датчане, забыв всякое благоразумие, бросились выручать товарищей, выхватили из ножен шпаги. Завязалась схватка. Датчане многих стрельцов поранили, но все же не могли с ними справиться и, побежденные численностью противников, должны были вернуться во двор.

Шум, произведенный этой схваткой, заставил королевича проснуться. Он выбежал и, узнав, в чем дело, всплеснул руками.

— Что вы наделали! — вскричал он. — Зачем вы мне не сказали, что хотите бежать сегодня ночью? Ведь мы условились с вами, что тайно от меня вы этого не сделаете. Я все обдумал, а вы поступили как безумцы, сами свое дело вконец испортили! Разве можно было выйти так прямо, со двора, и рассуждать с караулом? Кто это среди ночи на

прогулку выходит и как тому поверить? Я бы указал вам такое место, где можно выбраться и не попасться на глаза караульным...

— Так покажи нам его, королевич, скорее! — встрепенулись беглецы. — Теперь мешкать нечего и часу!

Вольдемар сообразил, что и в самом деле чем скорей, тем лучше, и провел их в глубь сада, к забору, объяснив им, насколько сам мог себе представить, в какую сторону, перелезши через забор, им идти.

Произошла трогательная сцена прощания королевича с верными слугами, а затем датчане стали перелезать через забор.

Перелезать было нетрудно по Машиному следу, да пришлось сейчас же вернуться: стрельцы ходили караулом вокруг забора и тотчас же подняли тревогу.

Что же было делать? Отложить всякую мысль о бегстве и безропотно ждать своей участи? Но на это датчане не пособны, препятствия только увеличили их отчаяние и их решимость.

Никто не спал в эту ночь, и видно было, что приготавливается что-то спешное и неожиданное.

Самые близкие к королевичу его придворные долго совещались с ним при запертых дверях, приходили и уходили, что-то укладывали. На конюшнях тихо и осторожно седлались кони.

### III

В следующий вечер ходил по Москве рассказ, сущность которого, если очистить его от очевидных прикрас и прибавлений, заключалась в следующем.

Приезжие с басурманским королевичем немцы датские, видно, соскучились сидеть под караулом у себя во дворе; человек их с тридцать, все люди молодые, в одеже богатой и со многим оружием, оседлали коней. Неожиданно, распахнув ворота, пробились они сквозь растерявшихся караульных и помчались по московским улицам. Доскакали они до Тверских ворот. А ворота те стоят на запоре, и приставлен к ним стрелецкий караул.

Немцы требуют, чтобы для них отворили ворота, но стрельцы не пускают. Тогда они сами начали ломать ворота. Караульные закричали, со всех сторон набежали стрельцы. Немцы начали в них стрелять из пистолетов и колоть их шпагами.

Но численность стрельцов одержала победу, пришлось-таки басурманам бежать от ворот обратно в город. Один из них был взят стрельцами в плен, и его тотчас же повели в Кремль, но едва поравнялись с собором Николы Гостунского, находившимся вблизи от помещения датского посольства, как с королевичева двора набежали в большом количестве пешие немцы, кололи стрельцов шпагами, одного убили до смерти, шесть человек ранили и своего товарища у них отбили...

И до этого разу много всяких самых невероятных слухов и рассказов ходило по городу относительно приезжих датчан. Так, например, рассказывали, что у них во дворе происходит всякая чертовщина и неслыханные непотребства, что все немцы датские, и с их королевичем, не простые басурманы, а колдуны и чародеи.

Царь-то хоте за того королевича царевну замуж выдать, а как узнал про его ведовство, так и говорит ему: «Нет, брат, не обмануть тебе нас, не токмо царевны ты не увидишь, а беру я тебя в плен, и коли отец твой, басурманский король, не пришлет за тебя выкупа, десять возов с золотом да пять возов с камнями самоцветными, так и сидеть

тебе, ведуну, на цепи у меня до скончания века, и никакое ведовство твое тебе не поможет».

Много чего рассказывалось по Москве, но на сей раз слух оказался справедливым.

На следующий день к королевичу явился Петр Марселис. Он был крайне встревожен и расстроен. Ему объявили, что королевич нездоров, из своего покоя не выходит и лежит со вчерашнего дня не вставая. Королевич сначала не хотел принять его, но Марселис так просил и настаивал, что был наконец впущен к Вольдемару в опочивальню.

— Чего ты больного меня тревожишь! — сурово сказал королевич при его входе. — Какое такое у тебя дело?

— Вчера ночью и утром учинилось у вас дурное дело, — прямо начал Марселис, — очень дурное... Это жаль, потому что от такого дела добра нечего ждать...

— Мне своих людей не в узде держать! — сердито ответил ему королевич. — А скучают они оттого, что здесь без пути живут. Я был бы рад, чтобы им всем и мне шеи переломали!

— Вам бы подождать, ваша милость, — робко проговорил Марселис, — все устроится понемногу, а дурных советчиков не слушайте.

— Хорошо тебе разговаривать! — закричал на него королевич. — Ты у себя дома живешь, у тебя так сердце не болит, как у меня. Ведь ты хорошо должен знать, что тут делается: послов хотят отпустить, а меня царь отпустить не хочет. Я лишен возможности писать отцу и от него не получаю известий, разве можно все это вынести?

— Потерпите, ваша милость! — упрашивал Марселис.

— Молчи и оставь меня в покое! — перебил его Вольдемар. — Неужели ты не понимаешь, что мне на тебя глядеть противно! Ведь ты всему виною, ведь благодаря тебе я здесь... Ты мне обещал, ты мне клялся, что ничего дурного со мною не будет, ты ручался своей головой!..

Марселис развел руками и опустил глаза.

— Что же, — прошептал он, — разве мог я думать, что так все случится? Разве я знал?

— Ты должен был знать, ты хвастался, что хорошо знаешь московитов, говорил канцлеру о здешних порядках, что хорошо было

бы, если б в Копенгагене были такие... Да что мне с тобой разговаривать! Погубил ты меня, да и не меня одного, а всех людей моих. Хорошую службу сослужил ты королю! Изменник! Предатель! Вон с глаз моих! Не то я за себя не отвечаю...

Королевич бешено поднялся с лавки, на которой лежал. Еще две-три минуты, и, может быть, он убил бы Марселиса, такое в нем клокотало бешенство, такое душило отчаяние.

## IV

Когда Марселис, бледный и трепещущий, пробирался к выходу, его остановил один из молодых людей, приближенных к королевичу, по имени Генрих Кранен, и увел его в сад.

— Слышали ли вы, какое несчастье у нас вчера случилось? — спросил он.

— Да как же, знаю, знаю! — ответил Марселис. — Принц во всем меня винит, а я тут при чем? Видит Бог, хотел все к общему удовольствию устроить, только и думал о том, как бы исполнить желание его королевского величества, как бы способствовать счастливой жизни принца. Я сам теперь почитаю себя несчастнейшим в мире человеком и придумать не могу, как выйти из этих прискорбных обстоятельств...

— Да нет, — перебил его молодой человек, — видно, не знаете вы беды нашей! Как вы застали принца? Протянул он вам руку?

— Нет, — вздохнул Марселис, — он не считает меня достойным этой чести.

— Да кабы и считал достойным, а руки все же бы не протянул, сильно болит она у него.

— А почему?

Марселис еще не понимал, в чем дело, но уже почуял недоброе.

— А потому, — продолжал молодой датчанин, — что ведь вчера утром принц чуть было не убежал.

— Как? — воскликнул Марселис, весь холодея от ужаса.

— А так, что принц наш потерял всякое терпение, да к тому же и опасность велика. Он и решил... И был у Тверских ворот... Знали про это дело только я да его камер-юнкер, а послы про то не знали. Принц взял с собою свои драгоценности и изрядную сумму денег... В Тверские ворота их не пропустили. Хотели они оттуда воротиться назад с тем, чтобы попытаться выехать в другие ворота, но стрельцы принца и камер-юнкера поймали, у принца вырвали шпагу, били его палками и держали лошадь за узду. Тогда принц вынул нож из кармана, узду отрезал и от стрельцов ускакал, потому что лошадь под ним была ученая, его любимая лошадь: она слушается его и без узды.

— Господи! Хоть бы про то не проведали москвиты! — воскликнул Марселис.

— Слушайте, что было дальше. Вернулся принц и рассказал мне все как было, что план его не удался, а камер-юнкера стрельцы увели, но что он ни за что не хочет его выдавать. Затем принц схватил шпагу, взял с собою десять человек скороходов, выбежал с ними со двора и, увидав, что стрельцы ведут камер-юнкера, бросился на них, убил того стрельца, который вел пленника, и, выручив его, возвратился домой.

Марселис закрыл лицо руками.

— Боже мой! Боже мой! — говорил он. — Этого я уж никак не ожидал! Ведь если бы побег принцу удался, я был бы в ответе! Конечно, меня стали бы подозревать, что я знал о побеге, и не миновать мне казни!

Марселис не ушел, а просил молодого человека пойти к Вольдемару и, когда тот будет поспокойнее; спросить, не примет ли он его, Марселиса?

— Уж лучше бы его не раздражали, — отсоветовал ему Генрих Кранен. — Раз он считает вас во всем виноватым, о чем же тут говорить?

Но Марселис ответил:

— Пусть он на меня гневается сколько хочет, пусть даже побьет меня, а я желаю ему добра и, по моей прямой верноподданнической службе, должен всеми мерами отговорить его от повторения такого поступка. Бога ради, убедите его принять меня.

Марселис, ожидая возвращения Кранена, стал бродить по саду. Ждать ему, однако, пришлось недолго.

Молодой человек возвратился и сказал, что принц согласен принять его, только изумляется, что ему еще может быть от него нужно?

Марселис поспешил к Вольдемару.

Припадок бешенства уже прошел, оставалось отчаяние и сознание своего бессилия.

Вольдемар лежал на лавке, покрытый мягкими стегаными тюфячками и обложенный пуховыми подушками. Здоровою рукою он подпирал себе голову. Красивое лицо его было бледно, глаза померкли... При входе Марселиса он встретил его усталым, равнодушным взглядом и тихо произнес:



— Чего тебе еще от меня надо? Что доброго можешь сказать мне?

— Принц, — начал Марселис мягким голосом, — простите меня и не гневайтесь, Бога ради! Клянусь, я несчастлив, но не преступен перед вами. И теперь помышляю я только об одном, как бы вы себе не повредили...

— Я навсегда и бесповоротно повредил себе в ту минуту, как склонился на твои лживые уверения, — сказал Вольдемар, отвертываясь от Марселиса.

Но тот не стал обижаться. Об обиде ли теперь было думать!

— Я все знаю, — сказал он, — знаю, что вы убили стрельца, принц...

— Ну так и знай! Я этого не скрываю и ни от кого скрывать не буду. Сам скажу об этом царю и боярам.

— Ах, не делайте этого, ваша милость! — воскликнул Марселис. — Ведь, может быть, стрельцы вас не узнали, а если вас и назовут, я стану уверять, что это ошибка, что вас не было...

— Не советую делать этого! — усмехнулся Вольдемар. — Я объявлю, что ты лжец.

— Ах, зачем вы не сказали мне, принц, что собираетесь бежать из Москвы?

— Нечего сказать, очень был бы я умен, если бы об этом деле рассказал тебе или кому другому, кроме тех, кого с собою брал!

— Что подумает царь, если узнает про то, что вы сделали! — вздохнул Марселис. — Нет, умоляю вас, пожалейте себя, никому об этом не говорите!

— Вот еще! — воскликнул Вольдемар, порывисто вставая с лавки, но от боли снова на нее опускаясь. — Ведь я уж приказывал Шереметеву передать от меня царю, что хочу это сделать и кто меня станет держать и не пропускать, того я убью. И впредь я буду о том думать, как бы из Москвы уйти, а если мне это не удастся, то... я знаю, что я тогда сделаю!..

Королевич проговорил эти слова таким мрачным и загадочным тоном, что Марселис вздрогнул.

«Боже мой! — подумал он. — Да ведь он хочет что-нибудь над собою сделать, только это и могут означать его слова. Да и как в таких бедах, в таком положении не остановиться на мысли о самоубийстве? Но ведь нельзя же допустить такое несчастье, надо действовать...»

Видя, что королевич не хочет с ним больше разговаривать, Марселис откланялся, ушел и, возвращаясь к себе, все думал, как ему поступить теперь? Наконец он решил, что о таком деле необходимо дать знать царю, чтобы потом не быть в ответе.

Между тем Вольдемар как сказал Марселису, что не станет ни от кого скрывать свой поступок, так и сделал. Явился к нему князь Сицкий, и он ему прямо рассказал, как было дело, и просил при этом передать все царю.

Царь при докладе Сицкого тотчас же приказал ему идти обратно во двор королевича и сказать послам от его имени, что и простым людям такого дела делать не годится и слышать про него непригоже, а ему, царю, слышать про это стыдно и королю Христианусу такое дело не честно.

Пассбирг и Биллей ответили Сицкому для передачи царю:

— У нас с принцем было условлено ехать из Москвы всем вместе, явно и днем. Мы не пленники, и держать нас силой не за что, в действиях же наших отдадим отчет нашему государю, если же королевич поехал один, нам не сказавшись и тайком, то нам до этого дела нет, у него своя воля.

«Эх, — подумал Сицкий, — покажем мы ему эту волю! Волей-неволей, а сделает он по-нашему...»

После этого Вольдемар послал царю новую грамоту; в ней опять он просил об отпуске, клялся, что никогда не переменит своей веры и что потому жить ему в Москве больше незачем.

Царь отвечал ему в жалобном тоне, выговаривая, что он, королевич Вольдемар, за великую его любовь и ласку отплатил ему таким непригожим делом, о котором скоро будет толк у бояр с послами королевскими.

Королевич ответил, доказывая, что вина этого дела на тех людях, которые без всякой причины позволяют себе над ним насилие, и снова просил отпустить его.

Тогда Пассбирга и Биллена призвали в посольский приказ, и там бояре от них требовали, чтобы они вместе с королевичем дали письмо с приложением своих рук и печатей и поцеловали крест, что «дело о браке королевича с обеих сторон полагается на суд Божий и вперед царю с королем быть в крепкой, братской дружбе и любви и в ссылке<sup>[13]</sup> навеки неподвижно».

— Как только вы все это напишете и крест поцелуете, — говорили бояре, — так и будете вместе с королевичем вашим отпущены в Данию. Вечному же dokonчанию быть по договору царя Иоанна с королем Фридрихом.

Послы датские, уже потеряв всякую веру в обещания московитов, не спешили радоваться. Они ответили:

— Если главное дело, свадьба королевича, остановилось, то нам никакого другого дела делать и закреплять, без королевского приказа, нельзя, хотя бы нам пришлось и десять лет еще прожить в Москве.

На это им бояре ничего не сказали и так и ушли из приказа. Опять началась ежедневная пересылка писем, опять королевич просил отпустить его; послы тоже просили не держать их без всякого дела.

На это получили они ответ, что без обсылки с королем Христианом отпустить их нельзя.

«Когда король отпишет, — значилось в царской грамоте, — то мы, великий государь, выразумев из грамоты, с вами и делать станем, как о том время покажет».

Вольдемар писал царю, что соседние государи, польский и шведский, принимают участие в его беде и не будут равнодушно смотреть на его плен.

На это был ответ: «Мы, великий государь, над вами с приезда до сих пор ведем честь государственную большую, и вам непригоже было писать, будто вы в плену находитесь. Мы отпускать вас никогда не обещались, потому что отец ваш прислал вас к нам во всем в нашу государскую волю и вам, не соверша великоначатого дела, как ехать?»

Читая это послание и вникая в смысл его, бедный королевич просто скрежетал зубами от бессильного бешенства. Он даже вдруг позабыл и царевну, и Машу, в нем поднималась жажда мести, все сердце кипело так, что больно даже становилось.

— Нет, — говорил он своим приближенным, — так невозможно оставаться! Во что бы то ни стало надо выбрать надежного человека, который мог бы помочь мне бежать в Данию... Я не могу больше так жить... я задохнусь, с ума сойду, я наложу на себя руки.

По счастью, явился Пассбург с известием, что нашелся один московский немец, ремесленник, который согласился, за известную плату, отправить в Данию своего сына тайным образом.

Послы и королевич приготовили письма, и на этот раз гонец их благополучно выбрался из Москвы.

## VI

Не на шутку забурился царский терем. Очень часто, для того чтобы поднять из глубины его всю накопившуюся грязь и муть, требовалось гораздо меньше. Какое-нибудь зря вырвавшееся и не имевшее никакого смысла слово служанки оказывалось достаточным, чтобы начать долгое и мучительное следствие, тут же дело было действительно выходящее из ряда вон: воровство в тереме, да еще в ночное время!

Положим, как ни перебирала Настасья Максимовна и другие постельницы всю теремную рухлядь, все платье и белье, ровно ничего не оказывалось пропавшим, но ведь в саду, у забора, найдены были вещи. Вещи эти оказались принадлежащими одной из молодых прислужниц царевны Ирины Михайловны по имени Ониська Мишурина.

По приказу царицы был призван дьяк Тороканов, и ему велено было разобрать дело.

Главной обвинительницей и доказчицей явилась, конечно, Настасья Максимовна, а первой ответчицей — Ониська, девка работающая, простая и несколько придурковатая, которая, еще ничего не видя, уже лила реки слезные, вопила и причитала, имела вид до крайности перепуганный и виноватый.

Когда дьяк Тороканов, призвав ее, стал допрашивать, он долго не мог от нее добиться ни одного слова. Она бухнулась на землю и вопила благим матом. Он терпел, терпел, наконец стал кричать на нее. Тогда ее вопли остановились, и она превратилась как бы в истукана, глядела в глаза кипятившегося дьяка бессмысленным взглядом, и только. Он схватил ее за косу и потрепал ее изрядно.

— Будешь ли ты, дурища, говорить или нет? Я тебя ем, что ли? — крикнул он. — Ведь я тебя не наказывать хочу, до наказания далеко еще, должна ты сказать только всю правду.

Бедная Ониська и хотела говорить, да не могла, язык не слушался.

Из своего окаменения она перешла теперь в новое состояние: дрожала всеми членами, стучала зубами и вдруг со всех ног кинулась было вон, очевидно, не соображая, что такое делает, повинуюсь только

инстинкту запуганного, видящего неминуемую опасность зверя, порывающегося уйти от врага, хотя уйти и некуда.

— Эге! Да ты вот как! — протянул он. — Ну, так вот тебе последний мой сказ: либо говори, либо сейчас же на пытку. Вот как вздернут тебя на дыбу, небось заговоришь!

Ониська взвизгнула нечеловеческим голосом, крепко зажмурила глаза, будто перед ней очутилось нечто нестерпимо ужасное, и наконец заговорила, стуча зубами:

— Все скажу... все... Да что говорить-то? Нешто я виновата? У меня же стащили...

— Ведь твои это вещи? — указал Тороканов на лежавшее тут же, на столе, поличное.

— Мои... мое все... новешенькое, только к празднику и сделано, царицыно жалованье...

— Ну, так ты, значит, признаешь? — важным голосом сказал Тороканов и, обмакнув большое гусяное перо в склянку с чернилами, стал медленно, но не без искусства выводить на бумаге хитрые закорючки.

Ониська глядела на эти движения пера и на выходившие из-под него непонятные знаки расширившимися от ужаса глазами. Зубы ее так громко стучали, что Тороканов даже оторвался от писанья, крикнул: «Ну!» — и снова наклонился над бумагой.

Вот он кончил, положил перо на стол и опять обратился к Ониське:

— А теперь ты скажи мне: где же эта одежда у тебя лежала?

— Вестимо где! Где же ей лежать-то... в сундучке, в чулане.

— И на запоре?

— Не! Хотела я замок достать, да где ж его сразу достанешь. А Соломонида Митревна и говорит: не сумлевайся, говорит, Ониська, кто у тебя возьмет! Нешто в тереме есть воры? Не бойся, не украдут. А вот и украли... — протянула Ониська и вдруг опять завопила: — Матушки вы мои, голубушки!.. Царица небесная!..

— Нишкни! — крикнул Тороканов и топнул ногою.

Она затихла.

— Ну, а кто же это у тебя украл-то?

Она совсем не поняла и только бессмысленно глядела на него.

— Да нешто я знаю! — отчаянно воскликнула Ониська. — Кабы я знала...

— Ну, что кабы знала?...

— Так я бы... я бы... не дала бы моего добра вору, я бы кричать стала!..

Допрос продолжался все в том же роде.

Как ни бился Тороканов, ничего не добился он от Ониськи, да и что могла она открыть ему? Были вещи, лежали в сундучке, в чулане, кто их взял и когда, неведомо. Она их не хватилась, а как Настасья Максимовна, постельница, призвала ее, показала, она и признала свои вещи.

Записал все это Тороканов и пока отпустил Ониську. Сидел он, перечитывал показание перепуганной служанки и раздумывал, как тут взяться, за какой конец ухватиться?

Было воровство? Было. Вор проник ночью в терем, захватил Ониськину праздничную одежду, вышел невредимым в сад, добрался до забора, но тут, видимо, перепугался, побросал все вещи, перелез через забор и утек. Никто его не видел, кроме Настасьи Максимовны, да и та не видела его, знает только, что он был в чулане, где вещи те лежали.

— Эка дура баба! — говорил себе Тороканов. — Как припер он дверцу, ей бы тут же ее снаружи и запереть на щеколду, вот вор сразу бы живьем и попался. Эка дура баба! За домового, вишь, его приняла... ну, да и то сказать, — тотчас нашел он оправдание для Настасьи Максимовны, — как и не принять? Может, тут и впрямь не обошлось без домового, уж больно дело-то мудреное. А дверь?... Каким таким образом дверь ночью была не на запоре?

Тороканов понял, что все дело в этой двери, и снова приступил к допросу всех теремных жительниц. Но тут оказалось нечто не совсем согласное с действительностью.

Все перво-наперво отозвались полным неведением: «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем, двери у нас всегда на запоре, ключи на месте!» И бывшие тогда вместе с Настасьей Максимовной, и выходявшие с нею в сад для осмотра показывали, что ключ она, постельница, разбудив их, взяла с собою, что Пелагея Карпова, по ее приказу, взяв у нее тот ключ, отперла им дверь в сад, а дверь, допрежь того, была на запоре.



Откуда взялись такие новые показания, неизвестно. Настасья Максимовна никого не подговаривала, да и подговаривать ей было незачем; не она отвечала за ключ, не она в тот день была наряжена смотреть за выходами. Но она не противоречила этим показаниям: может, она и впрямь, с перепугу, запамятовала, как было дело, или просто не хотела выдавать товарок.

Тороканов, собрав все эти новые показания, только разводил руками.

— Ну, как же тут быть? — толковал он. — Дверь на запоре, ключ на месте, а он, вор-то, сидит в чулане, а потом в ту дверь с краденой одежей проходит...

— И ничего тут мудреного! — вдруг возвысила голос бойкая, глазастая женщина, та самая Пелагея Карпова, которая по приказу Настасьи Максимовны отперла дверь. — Все это не иначе как Машуткино дело!

— Машуткино? Какой Машутки? — насторожился Тороканов.

— А известно какой! Да вот она и сама тут! — отрезала Пелагея Карпова, злобно сверкнув глазами и указывая на Машу, стоявшую тут же, в числе допрашиваемых, и уже никак не подготовленную к такому обороту дела.

— Что ты, Пелагея? Господь с тобой! За что ты на меня напраслину такую взводишь? Я-то тут при чем? — едва веря своим ушам, заговорила девушка.

— Ладно! Прикидывайся казанской сиротой, зелье ты этокое! Знаем мы тебя! — со злобной усмешкой продолжала Пелагея. — А это что же такое?

Она вынула из кармана платок и, приподняв его за концы руками, всем показывала.

— Чей это плат? Ну-ка, отопрись!

— Мой он! — крикнула Маша, подбегая к Пелагее и стараясь вырвать у нее из рук платок. Но та не давала.

Тороканов в это время так и впивался то в ту, то в другую.

— Мой плат, я обронила его нынче утром... искала... ну, ты нашла, так что ж тут? — говорила Маша, еще не понимая, какое обвинение может быть связано с этим оброненным ею утром платком.

— «Что тут такое»!.. — передразнила Пелагея. — А вот это ты и скажи сама, что тут такое у тебя в этом плате в узелке завязано?

Действительно, один из углов платка был завязан узелком и в том узелке, очевидно, находилось что-то.

Тороканов взял из рук Пелагеи плат и развязал узелок.

— А! — многозначительно произнес он, кладя осторожно платок на стол. — Ну-ка, Машутка, поди сюда да скажи по истинной правде, какой такой корешок у тебя в плате-то завязан?

Маша подошла к столу и с изумлением глядела на сухой, толстый корешок.

— Не ведаю, — сказала она. — Вот те Христос, ничего у меня в плате завязано не было... Это она все... она, Пелагея, по злобе на меня. Вот те Христос! Мать пресвятая Богородица!..

И бедная Маша, хотя еще не успевшая испугаться как следует, но уже почуявшая беду, стала креститься. Пелагея злобно усмехнулась.

— Ишь ты, по злобе на нее! Какая у меня на тебя может быть злоба? Как нашла плат, вижу, завязан узелок, я и развязывать не стала. Рук своих не стала пачкать. Кто его знает, что там такое!

Все с видимым страхом и любопытством подходили к столу и глядели на корешок.

В это время в горницу, где происходил допрос, вошла Настасья Максимовна. Все расступились и дали ей дорогу. Она внимательно посмотрела на корешок, потом обвела взглядом всех присутствовавших и развела руками.

— Только этого и недоставало! — многозначительно вымолвила она.

— Да это что же такое? Как ты полагаешь, Настасья Максимовна? — спросил ее Тороканов.

— Что уж тут полагать, батюшка, дело ясное, разрыв-трава, вот это что! — с полной уверенностью и с видом знатока объявила Настасья Максимовна.

## VII

Дьяк Тороканов был очень доволен найти выход из своего затруднительного положения. Еще за минуту перед тем дело представлялось ему совсем непонятным, а вот разрыв-трава так просто и ясно отвечает на самый важный, главнейший вопрос.

В существовании этого зелья он не сомневался; оставалось только убедиться, точно ли корешок, лежавший перед ним в Машином платке, действительно настоящая разрыв-трава. Но ведь Настасья Максимовна прямо, без всякого приготовления произнесла это слово, произнесла его без колебаний, решительно, ну, а Настасье Максимовне как же не поверить!

Что касается всех теремных жительниц, находившихся при допросе, для них уж, конечно, тут невозможны были никакие сомнения, все готовы были теперь идти хоть под присягу, что этот таинственный корешок и не может даже быть ничем иным, как разрыв-травой.

Тороканов быстро вскочил из-за стола, подбежал к Маше и ухватил ее за руку, будто боясь, что она сейчас ускользнет и исчезнет.

Но Маша бежать не собиралась. Она все еще никак не могла взять в толк возводимого на нее обвинения.

— Откуда у тебя разрыв-трава? Кто тебе дал ее? — спрашивал между тем Тороканов.

— Да ведь я же говорю, что в плате, который я обронила, ничего не было! Это она, это Пелагея положила, а что она такое положила — почем же мне знать. Может, это и разрыв-трава, а то и еще хуже, она положила, у нее и спрашивай!

— Так это Машутка! Она? У нее нашли? — с изумлением воскликнула Настасья Максимовна и сразу растерялась.

Она одна из всех здесь бывших не вполне верила в сделанное ею определение сущности этого корешка.

Ведь, сказать по правде, она никогда разрыв-травы не видала, да и не говорили ей люди верные, знающие, что трава эта вот такой темный, толстый, сухой корешок, — сказала она, что это именно такой корешок, потому что так ей оно показалось, а главное, бессознательно

приятно было произвести сильное впечатление на всех своим заявлением.

Но уж никак не думала она, что словом «разрыв-трава» обвиняет она Машутку. Хоть и сидела у нее на шее эта озорница, по ее выражению, хоть и готова она была предполагать за нею всевозможные, самые непростительные шалости, но все же ведь она в глубине души своего сердца не только не питала к ней никакой злобы, но даже по-своему жалела ее, делала ей добро. Наконец, ведь Машутка, царевнина любимица, на ее глазах, недавно, будто вчера, еще была совсем ребенком; положим, теперь она выросла, хоть под венец ее веди, ей уж пятнадцать лет, но все же какие это еще годы? Да и дурачества, шалости у нее все детские...

Однако кто ее знает, ведь вот она то и дело пропадает неведомо где. Тогда вот вечером, когда она поймала ее и заперла на всю ночь в чулане, где она была все время? Да и вор... ведь забрался именно в этот самый чулан...

Ох, неладно тут что-то! А все ж таки жаль девчонку, все ж таки... Ну а вдруг то не разрыв-трава, а она такой грех взяла себе на душу!

Настасья Максимовна почувствовала, как у нее будто что-то перевернулось в сердце и засосало.

Она подошла к столу и после некоторого колебания решилась взять в руку корешок. Оглядела его она со всех сторон, не без робости, но все же понюхала и сказала:

— А может, я и обозналась, может, это и другое что... Говорила вот мне одна божья старица про разрыв-траву... Похоже-то оно похоже, да ведь кто их знает — корешки-то эти! Поди сорви репейник потолще, высуши его, так и у него такой же вид будет... Ты, батюшка, на мои слова не полагайся, — обратилась она к Тороканову, — греха на душу я брать не хочу, говорю: может, я и обозналась.

Но тут выступила вперед Пелагея и, вся даже трясаясь от злобы, заговорила:

— Не обозналась ты, государыня Настасья Максимовна, а самую, видно, правду сказала. Сами посудите, сами разберите, люди добрые, как тут решить-то?... Может, другие ничего не видят, а я-то вижу. Вот уж целую неделю, как дело к вечеру, так Машутка и пропала! Она-то думает, что никто этого не примечает и что всех она за нос провести может, ан нет... я-то за ней уж давно примечаю, за негодницей. Три

раза своими вот этими глазами я видела, как она поздно вечером из сада через ту дверь возвращалась.

Против этого обвинения Маша ничего не могла возразить, только бросила злобный взгляд на Пелагею и невольно зарумянилась.

Ее смущение, ее румянец ни от кого не скрылись, все их заметили, заметили и Настасья Максимовна, и дьяк Тороканов.

— А! Так вот что! И каждый вечер, ты говоришь, она убежала?

— Да, да, — твердила Пелагея, — своими вот этими глазами видела, как вечер, так она и шмыг в сад и долго, долго пропадает.

— Отчего ж ты мне тогда не сказала! — крикнула Настасья Максимовна.

— А чего мне говорить, — ничуть не смутившись, ответила Пелагея, — нешто я в няньки к ней приставлена! Вот вышло дело, я и говорю, что знаю.

— Ну-ка, что ты на это скажешь? — строго спросил Машу Тороканов.

— Да что скажу? Что мне сказать-то? — проговорила Маша. — Коли видела, что я в сад бегая, значит, так оно и было, ну что же такое! День-деньской маешься, то тут, то там в работе, то Настасья Максимовна кличет, то царевна, ну, а придет вечер — дела-то нет, вот в саду и хочется побегать, я и в сад, что ж тут такого?

— Да кто же тебе это позволил? Как же ты могла не спросившись? — крикнула Настасья Максимовна.

— А кабы я тебя спросилась, Настасья Максимовна, тогда ты бы меня все равно не пустила, так я уж лучше так, без спросу... Нешто знала я, что эта злодейка за мной подглядывает.

— А дверь-то, дверь?... — спросил Тороканов. — Что ж она у вас, так до поздней ночи и стоит отпертою али вы ее запираете по положению?

Тут все в один голос начали уверять, что дверь запирается аккуратно.

— Ну в таком разе и толковать нечего, — решил Тороканов, — раз дверь запирается, а девчонка через нее в сад и из саду пробирается, значит, у нее отвор есть. Вот отвор этот и лежит теперь на столе, вот он!..

— Так, так! — торжествующе подтвердила Пелагея. — Умный человек сейчас видит, в чем дело.

— Да и для глупого человека оно ясно: коли дверь на запоре, а девчонка в нее пробирается, значит, отворяет она ее разрыв-травую. Что же, ты еще ничего не заприметила, Пелагея? — спросил Тороканов.

— Как не заприметить! Она в сад, а я в светелку к окошечку, а из окошечка-то все как на ладони, ну вот и видела...

Маша почувствовала, как у нее спина холодеет. «Что она видела? — промелькнуло у нее в мыслях. — Неужто видела, как я через забор лазила?»

— И вижу это я раз: Машутка подбежала к забору, — объясняла Пелагея, — подняла голову, гляжу я, куда это она смотрит? Ан и вижу, на заборе-то шапка. Ну, а дальше, известно, что шапка-то не сама собою... на человеке надета. Приманила Машутка голубчика!..

У Маши широко раскрылись глаза.

— Али в тебе стыда нет! Бога побойся! Что ты на меня клеплешь! — крикнула она Пелагее. Но та ничуть не смутилась.

— Вестимо дело, клеплю я на тебя. Так ты сейчас и признаешься, что парней в царский терем приманиваешь, да воров еще...

Теперь все было ясно. Тороканов подтащил Машу к столу и строгим голосом приказал ей стоять смирно. Сам же он обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать.

— Признавайся во всем, во всем как есть! Если станешь отпираться, не взыщи, голубушка!

— Не в чем мне признаваться, — то бледнея, то краснея, но не от страха, а от бешенства на Пелагею, ответила Маша. — Что есть, то есть, а чего нет, того нет. Мой плат, обронила я его нынче утром, только никакого корешка в нем не было. Гулять в саду в ведро я не раз выбегала: в этом не запираюсь, а больше ничего не знаю и не ведаю.

— Ну, это мы уж слышали, — перебил ее Тороканов, — а теперь вот что мне скажи: кто такой этот парень, которого ты приманила-то? Откуда он у тебя взялся и как его имя?

— Никакого парня нет, — решительно ответила Маша. — Никакого парня я и в глаза не видывала.

— Эй, Марья! — погрозил ей пальцем Тороканов. — Не шутки я шучу с тобой, да и времени у меня не много. Либо ты мне сейчас истинную правду скажешь, либо, не взыщи, прикажу тебя взять да попытать хорошенько. Авось на дыбе во всем повинисься.

Маша взвизгнула, и, прежде чем кто-либо мог опомниться, она уже выбежала из светелки и исчезла. Несколько женщин кинулись за ней вдогонку, но скоро вернулись, объявив, что она прямо побежала в покои царевны и что туда они за нею войти не посмели.

— Ну, да куда ж и выбежать ей, как не к своей заступнице, — раздумчиво произнесла Настасья Максимовна, — ты уж, батюшка, обожди, — обратилась она к Тороканову, — пойду я к княгине Марье Ивановне, поведаю ей обо всем, пускай она государыне доложит, как та прикажет.

Она кивнула головою Тороканову и пошла разыскивать княгиню Хованскую.

## VIII

Как ни была бойка и неустрашима Маша, но все-таки то, что с ней случилось, это неожиданное обвинение, не могло в конце концов не смутить и не перепугать ее. С детства живя в тереме и притом развившись очень рано, она отлично понимала все особенности окружавшей ее жизни. Отличаясь живостью и любопытством и по свойству своей организации неспособная сидеть на одном месте, думать и интересоваться одним и тем же, она наслушалась всевозможных рассказов о теремных историях и делах, бывших еще до нее. Таким образом, она очень хорошо поняла всю опасность своего положения.

Она знала, что справедливости и выяснения правды нельзя ждать от следствия: достаточно того, что страшное слово произнесено. По прежним примерам ей известно было также, что заpiresательство в таких делах не ведет ни к чему: раз кого-либо обвиняют, хотя бы без всякого основания, по одному лишь наговору, следует или тотчас же сознаться в несуществовавшем преступлении, или ожидать пытки. Дьяк Тороканов не просто пугает: что он сказал, то и будет, по крайней мере, всегда так бывало. Одна надежда на заступничество царевны.

И вот Маша бежит к своей приятельнице, с каждым мгновением чувствуя, как страх и ужас охватывают ее все больше и больше.

«Куда ты? Куда? Остановись, полоумная!» — кричат ей, но она ничего и никого не видит, она вырывается из рук тех, кто хочет удержать ее, и наконец достигает того покоя, где царевна Ирина проводит обыкновенно большую часть дня в обществе то княгини Хованской, то боярышень и где она занимается своими любимыми рукоделиями, в которых так искусна.

Вбежала Маша и видит — царевна не одна, но кто с ней, того она не разбирает. Она видит только Ирину, единственную свою защитницу, кидается перед ней на колени и с прорвавшимися неудержимыми рыданиями вопит:

— Царевна, золотая! Спаси ты меня, пытать хотят! Напраслину на меня возводят.



Царевна побледнела, поднялась с места и совсем растерялась. На лице ее изобразился ужас, она сразу почувствовала, что случилось какое-то несчастье.

«Пытать! Значит, все открыто».

Но рядом с царевной сама царица Евдокия Лукьяновна. Царица, конечно, не ждет никакого несчастья, не чувствует за собою никакой тяжкой провинности, а потому относится хладнокровно к этому трагическому появлению Маши, к ее воплям и непонятным словам.

Царица имеет вид и печальный, и болезненный. В это последнее время она, на глазах у всех, совсем извелась; здоровье ее, несмотря на всякое бережение, давно уже плохо, а тут это мучительное дело — сватовство королевича.

Много горя и страха переиспытало материнское сердце. Сразу почуяла царица, что не к добру затеяно сватовство это, что ничего путного из него не выйдет. Говорила она о том царю, но он и слушать ее не хотел, уверял, что все сделается само собой, доказывал ей всю желательность этого брака, а ведь вышло по ее, по-царицыному, не ладится это дело, да, видно, и не суждено ему сладиться.

А царь волнуется, а царь тоскует. Не далее как накануне в беседе с женою он сказал ей:

— Плохо мне, Авдотьюшка! В гроб сложит меня зятек нареченный, уперся на своем и стоит: не стану, мол, креститься! Ну а сама понимаешь, нешто за нехрестя можно нам дочь выдать?

— Да ведь я ж тебе говорила, что так будет, ты не хотел меня слушать. Бабы, мол, речи; все, мол, мы знаем, все устроим, вот и устроил теперь с боярами, срам один да горе!

Рассердился царь, поднялся, дрожит, за сердце ухватился. «Худо мне!» — говорит. И сказал таким глухим, страшным голосом, а сам потемнел весь. Уж и не помнит она, как людей дозвалась, как увела его в опочивальню, на постель уложила, за дохтуром послала. Прибежал дохтур-немец, долго с царем возился, и грудь, и спину ему стучал, и мазями всякими растирал его, сварил и заставил его выпить травы какие-то душистые.

Успокоился царь, заснул, да что в том проку? Нынче с утра ему не лучше, лежит и не встает с постели. Ну, а муж болен — жена добрая больна с ним вместе, сосет у нее сердце тоска... голова как-то

кружится, руки и ноги дрожат. Пришла вот она к дочке любимой, Иринушка тоже сидит с рукоделием, бледная, невеселая.

Как ни наказывала царица, чтобы никто ни одним словом не смел проболтаться перед царевной про басурманского королевича, да, видно, все ж таки дошли до нее слухи, видно, многое она знает, а то с чего бы ей быть скучной да бледной. Решилась царица выведать у дочки, что же именно она знает? Хотела она всячески ее успокоить. А тут вдруг ворвалась эта девчонка.

— Встань и не вопи! — строгим голосом сказала царица Маше. — Да и как ты смеешь так врываться? Нешто не видишь меня?

— Матушка государыня, прости ты меня! — прорыдала она. — Прости! До смерти напугали меня, обидели, сама не своя... не заметила тебя, государыня, прости Христа ради!

У Маши был такой отчаянный вид и в словах ее слышалось столько мученья и правды, что царица, всегда добрая и жалостливая, и на сей раз осталась себе верной. Гнев ее прошел.

— Говори, — сказала она уже гораздо более мягким голосом, — что такое с тобой сделали? Чем тебя обидели? Наверное, пустое...

Маша, сдерживая рыдания и мало-помалу приходя в себя, насколько могла толково передала, в чем дело.

Царевна Ирина от слов ее бледнела все больше. Маленькая, хорошенькая рука ее, лежавшая на пальцах, видимо дрожала. Она опустила глаза, не имея силы взглянуть ни на мать, ни на Машу. Правда, она ждала еще худшего, она думала, что все раскрыто, но и то, что услышала она от Маши, никак не могло ее успокоить.

Ни на одну минуту не сомневалась она в том, что Маша хоть умрет, а ее не выдаст, но ей было мучительно жаль свою приятельницу, и она сразу хорошо сознала себя виновницей всего, виновницей беды, которая стряслась теперь над этой преданной ей подругой.

— Матушка! — наконец воскликнула она, обращаясь к царице. — Хорошо, что ты здесь, что все от нее услышала! Прикажи, государыня, чтоб ее больше не трогали; ведь сама видишь, она ни в чем не виновата. Какая там разрыв-трава! Пустое все это, один наговор, по злобе... знаю я эту самую Пелагею, давно она на Машутку злобствует...

— А я знаю, — серьезно перебила ее царица, — что ты давно Машутку покрываешь: княгиня Марья Ивановна еще вчерась мне о

том говорила.

Между тем Маша упала теперь на колени перед киотом с образами и, крестясь, клялась, что она ни в чем не повинна, что никакого корешка у нее не было и никакого вора она не знает.

— Ладно, — сказала царица, — разберем мы это дело; коли невиновна ты, так тебе и бояться нечего.

Но Маша со свойственной ей быстротой и живостью впечатлений уже пришла в себя и снова все ясно сообразила. К ней снова вернулась ее смелость.

— Коли так, государыня, — воскликнула она, — коли не защитишь ты меня, так все равно я пропала! Я ведь уверяла дьяка, а он ничего знать не хочет, твердит одно: либо винись во всем сейчас же, либо пытка! Не могу я повиниться в том, чего не было, значит, вот и поведут меня на пытку! Помилуй, государыня! Помилуй, царевна!

В это время у двери показалась княгиня Хованская, а за ней выглядывало смущенное и возбужденное, побагровевшее лицо Настасьи Максимовны.

— А! Так ты здесь? Ну еще бы! — воскликнула княгиня Хованская, увидя Машу.

— Да, вот ворвалась. Хороши тут у вас порядки! — усталым голосом проговорила царица.

Княгиня как-то вся съежилась, сделала несчастное лицо и в то же время бросила сердитый взгляд на Машу.

## IX

Несмотря на заступничество царевны, несмотря на то что и царица, ввиду уверений и слезных просьб дочери, была очень склонна считать Машу невинной, все же положение девушки оказалось довольно затруднительным.

Следствие уже производилось: страшное обвинение на Машу было возведено в присутствии многих свидетелей, записано дьяком и освободить ее, признать непричастной к делу было почти невозможно, не подняв ропота в тереме.

Пелагея ненавидела Машу не со вчерашнего дня, ненависть эта началась очень давно, и первой ее причиной оказалось такое обстоятельство: у Пелагеи была дочка Машиных лет, и она, определяясь в терем, хотела пристроить ее вместе с собою с тем, чтобы девочка находилась при царевне. Это было почти уже обещано ей, но вот подвернулась Маша, и все изменилось. Пелагеина дочка не понравилась царевне, а Маша сделалась ее любимицей. Этого обстоятельства, конечно, было совершенно достаточно для того, чтобы от природы злая и неразборчивая в средствах женщина почувствовала непримиримую ненависть к царевниной любимице.

— Уж отплачу я тебе! Уж будешь ты меня помнить, вовек не забудешь! — злобно говорила сама себе Пелагея, встречаясь с Машей.

А тут еще свойство Машиного характера добавило яду: Маша была великой насмешницей, подмечала во всех смешные стороны и слабости и при случае умела отлично передразнить кого угодно.

Пелагея много раз узнавала, что Машутка и над ней потешается, поэтому она пользовалась случаем, чтобы раздражать против ненавистной ей девочки всех и каждого, а в особенности Настасью Максимовну. Сколько напраслин возвела она на Машу! Давно бы уж и достигла она своего, давно бы ее погубила, если бы не охраняла ее любовь к ней царевны. А тут такое дело! Все само собой так в руки и давалось.

Пелагея с каждым днем что-нибудь да прибавляла к своим показаниям против Машутки.

Главное же, все это являлось таким простым и естественным образом: девчонка озорная, весь терем тому свидетель, девчонка бегаёт, через заборы лазает, неведомо куда пропадает.

Против этого никто возразить не может, и прежде всего Настасья Максимовна, хоть, видимо, и хочет она теперь обелить ее для того, чтобы подслужиться к царевне. Все же не может она скрывать правду: ведь она сама не раз искала Машутку по всему терему и никак не могла доискаться.

Ну вот бегаёт, пропадает девчонка, где-нибудь спозналась с вором, слюбилась с ним, он и подговорил ее, дал ей разрыв-траву. Она ему указала, где он, не заходя далеко, может добром поживиться. Да и чулан-то этот ей, Машутке, хорошо известен: Настасья Максимовна ее в него запирала.

Все просто и понятно. Если же обелить Машутку, то за кого взяться? Ониська, у которой одежда украдена, — дура дурой, и заподозрить ее виновность в этом деле никто не хочет, что ж, сама Пелагея, что ли? Оно, конечно, и такое быть может, всякое бывает, но главное дело в том, что весь терем, как один человек, показывает на Машутку. Все самым искренним образом считают ее единственной виновницей — и этого убеждения ничем не изменишь. Это убеждение и является первой и главнейшей против девочки уликой.

Все же стоит за свою любимицу царевна, царицу на свою сторону переманила, но приходит княгиня Хованская и говорит царице:

— Что же тут делать? Нельзя это так оставить! Все, как один человек, твердят: Машуткиных рук это дело... Дьяк требует ее к ответу...

Царица не знает, как ей и рассудить. Жаль ей дочернюю любимицу, да и девочка перед нею так клялась, так божилась, так горько плакала...

— А сама-то ты, княгиня, как полагаешь? Неужли и впрямь она виновна?

— Кто ее ведаёт! — пожимает она плечами. — Сдается мне, что не может она пойти на такое дело, а коли все, как один человек, против нее — недаром это... да и на кого подумаешь?

Но царевна знать ничего не хочет. Она не отпускает теперь от себя Машу. Она, всегда послушная и часто робкая, так и уцепилась за свою любимицу: не отпущу, мол, не троньте! — и только.

Что ни говорит ей мама, княгиня Марья Ивановна, она отвечает только слезами.

— Не виновата она, не дам ее пытать да мучить!..

Остановилось следствие. Тихий, тайный ропот идет по терему:

— Такого еще у нас не бывало! Девчонка озорная, воров в терем водит, разрыв-траву достает, при себе держит, а подступиться к ней нельзя! Что же это будет? Ведь этак она всех морить станет. Как кто ей не показался — она сейчас засыплет отравы и опоит!

А Пелагея мутит всех, подзадоривает. Дьяк Тороканов тоже молчать не желает. Он обижен, возмущен, — поручили ему следствие, да и руки связали!..

Прошло несколько дней, и уже по всей Москве стали ходить самые невероятные слухи о теремном деле. Кто пустил эти слухи — никому не ведомо, но всюду толкуют о том, что в тереме поймали вора с разрыв-травой; о том, что там нашлась такая девка-злодейка, которая душегубством занимается, больше десятка теремных прислужниц перетравила, на тот свет отправила... И невесть что болтают. Побледнела, осунулась Маша. В бойких глазах ее появилось новое выражение — выражение испуга. Не слышно и не видно ее, таится она ото всех, по уголкам в царевниных хоромы прячется, старается быть как можно ближе к своей царевне. Знает и чувствует она, что вот только стоит отойти ей — и кинутся все на нее, как звери лютые, и растерзают ее на части.

Грустит и томится царевна; томит и смущает ее не одно Машино дело, а и то тайное дело, из-за которого обрушилась теперь такая напасть на Машу. А главное — лишена она возможности потолковать с Машей с глазу на глаз. Стерегут теперь, не по царицыну приказу, а по тайному какому-то соглашению между собою, все стерегут и ее, и Машу.

Долго не удавалось девушкам остаться наедине, но как ни стерегли их, а все же в конце концов улучили они удобную минуту.

— Не бойся, Машуня! Христа ради, успокойся, — не выдам я тебя ни за что на свете! — шепчет царевна, обнимая Машу.

Но та горько вздохнула.

— Верю — не выдашь! Не захочешь выдать, так заставят. Каждую минуту дрожу — силой меня у тебя отнимут и потащат на пытку.

Вспыхнули ярким румянцем щеки царевны, загорелись небывалым огнем голубые глаза ее.

— Нет! Не бывать тому! — уверенным голосом воскликнула она. — Не бывать! А потащат тебя силою — пусть и меня тащат тоже на пытку, и я тоже всем скажу правду: я во всем виновата, никакого вора — вор тот королевич! Не за одежей приходил он в терем, а за мною. Ради меня ты бегала, через забор лазила и без разрыв-травы, одною хитростью, ко мне привела его. Я во всем виновата...

Но Маша не согласна с этим. Хоть и бесенок она, хоть и мало кого любит, хоть и готова подчас на всякую злую шутку, на всякое издевательство над человеком, хоть и запугана она теперь и при одной мысли о пытке вся холодеет — все ж таки не согласна она признать вину за царевной. Сознает она, что не будь ее, Машутки, и ничего такого не случилось бы — где ей, царевне! Разве бы она надумалась? Разве бы она решилась — в чем же вина ее?

— А я скажу, что ты по доброте своей, царевна, на себя клепешь, — решительно объявила Маша.

— А я скажу...

Но что такое хотела сказать царевна — осталось неизвестным: в эту минуту зашевелилась ручка у двери и Маша в один прыжок очутилась в уголке и приняла свою обычную в таких случаях скромную и почтительную позу.

В то время как благодаря заступничеству за Машу не только царевны Ирины, но и самой царицы, а также княгини Хованской и отчасти Настасьи Максимовны дело о краже в тереме и разрыв-траве затягивалось — нежданно поднялось другое дело.

Это новое дело не имело отношения к терему, не носило на себе фантастического отпечатка и оказывалось посерьезнее.

Вяземский воевода, князь Пронский, прислал в Москву священника села Большого Покровского, по имени Григорий. Этот священник явился в приказ и показал, что к ним на село приехал из-за рубежа его сын с двумя беглыми людьми, Тропом и Белоусом.

Троп и Белоус объявили ему, попу Григорию, что они прямо из Смоленска и там узнали о большом государевом деле. Пришли в Смоленск от датского королевича из Москвы два человека: Андрей Басистов и Михайло Иванов, принесли с собою грамоты. Басистова Троп и Белоус давно уж знают, и вот он, по дружбе, прочел им эти грамоты. В грамотах пишется к смоленскому воеводе о том, можно ли Андрею Басистову верить, что он датского королевича из Москвы проведет в литовскую землю проселочными дорогами.

Воевода смоленский после того допрашивал мещан и лучших людей, и они ему поручились за Басистова и сказку за Басистова заруками ему дали, что ему верить можно.

Тогда воевода смоленский написал датскому королевичу в Москву, чтобы он в Басистове не сомневался и ему верил.

Обо всем этом тотчас же было доложено царю, и Михаил Федорович приказал попу Григорию выследить Басистова, опознать его тайным образом.

Для того, чтобы Басистов не мог никак узнать попа, Григорию укоротили бороду и с обеих сторон выстригли усы.

Не прошло и недели, как поп Басистова нашел и привел его в посольский приказ. Тогда государь велел немедленно боярину Федору Ивановичу Шереметеву и думному дьяку Львову расспросить Басистова, «пытать его и на очные ставки с Тропом, попом Григорием



и Белоусом ставить, для того чтобы про такое великое воровское дело сыскать вовремя».

Под крепким караулом, связанного, привели Басистова на житный двор. Мужик он был ражий, по-видимому, обладавший большою силою, с лицом смелым, смышленным и живыми пронизательными глазами, но когда связанным предстал он перед боярином и дьяком, то, видимо, оказался перепуганным не на шутку, побледнел и на обращенные к нему вопросы о том, кто он и откуда, не сразу даже мог ответить.

— Молчать станешь — так попытают, — обратился к нему Львов с обычным ободрением.

Басистов заговорил.

— Родом я из Вильны, — сказал он, — служил казачью службу, а теперь живу в Смоленске и торгую с мещанами.

— Зачем же ты здесь, на Москве, оказался?

— Да вот приехал для своей бедности с табаком.

— Полно, с табаком ли? — усмехнулся Львов. — Не для того ли приехал, чтобы королевича датского из Москвы в литовскую землю вывести?

Басистов перевел дух и довольно решительно ответил:

— Нет! Слышал я это точно, про датского королевича, только совсем его не знаю и вывести из Москвы никому не обещался, а вот что правда, то правда... хотел я вывести с собою... только не королевича, а его ловчего. Ловчий этот посулил мне пятьдесят рублей, только солгал, денег не дал... Про королевича я ни от кого и слова не слыхал... и в уме у меня того не было, поклепали меня в том напрасно.

— Ведите его! — распорядился Шереметев.

И повели Басистова через двор в избу, дали ему встряску — молчит. Пождали немного, дали другую, застонал он, замычал сильно и все-таки виниться не хочет. Стали отсчитывать ему удары, на пятом закричал:

— Ослобоните! Невмоготу! Ведите к боярам... во всем повинюсь...

Привели его к Шереметеву и Львову. Едва он на ногах держался и точно, повинился.

— Хотел, — говорит, — вывести королевича из Москвы в Смоленск, да не один, а вместе со смолянином Михайлой Власовым.

Он, Власов, уже давно живет в Москве и торгует табаком.

— Как же ты уговорился с королевичем? Где его видел? — спросил Шереметев.

— Нигде не видал, не с ним уговаривался, а с его ловчим. Сулил мне за это ловчий сто рублей; ждал я королевича недели с три и больше, а потом ловчий пришел ко мне и сказал, что делу этому не бывать, что королевичу выехать из города невозможно.

— Ну вот, — сказал дьяк Львов, — теперь ты уж говоришь другое, оно хоть и не совсем, а все же на правду похоже. А про табак ты что сказывал? Табак тут при чем?

— Привез я в Москву восемь пудов табаку, — объяснил Басистов, — пуд продал, взял за него пять рублей, два пуда табаку у меня украли, а пять пудов я спрятал на Ходынке, в лесу закопал их в землю.

— Ну пока довольно! Уведите его, — распорядился Шереметев и тут же приказал разыскать табак и тех людей, которым продавал его Басистов.

На следующий день стрельцы притащили пять человек — того самого смолянина Михаилу Власова, с которым Басистов хотел вывести королевича, да еще четырех дорогобужан. Оказалось, что прятались они с табаком в гумнах против Бутырок, в деревне князя Репнина.

Прежде всего обратились к Власову, и так как он начал с того, что ничего не знает, его прямо стали пытаться.

С пытки он сказал, что действительно слышал от Басистова о том, что тот хочет вывести из Москвы королевича, но сам он в этом деле не принимал никакого участия.

Тогда Шереметев и Львов опять призвали Басистова и стали его допрашивать.

— Скажи ты нам, смоленский воевода Мадалинский что с тобою приказывал? И король с панами радными знают ли про это дело?<sup>[14]</sup>

— Мадалинский мне приказывал, — отвечал Басистов, — чтобы всей Речи Посполитой сделал добро — королевича в Литву проводил, чтобы впредь из-за королевича литовским гонцам не ездить через их имения и убытков королевской казне и им не делать. А король и паны радные о том не знают.

— Ну а скажи теперь допряма, когда же ты с королевичем-то виделся? — спросил Львов.

— Ведь я уж говорил, что ни разу не видал королевича и в лицо его не знаю. Вот те Христос! Истинная это правда! — уверял Басистов. — Толковал я с ловчим королевичевым, его только одного, из всех датских людей, и знаю.

— Как же ты узнал его?

Басистов замялся было, но, сообразив, что сейчас, если не скажет правды, его поведут опять пытаться, объявил:

— А с ловчим свел меня немец Захар, стекляничный мастер, да зять его, Данила.

Увели Басистова, и тотчас же Шереметев, конечно, приказал достать немца Захара и Данилу...

Дело кипело, и ежедневно на житный двор приводили новых людей, допрашивали их, пытали, но ничего нового узнать не пришлось.

Королевич хотел бежать из Москвы, поручил устроить это дело своему ловчему, который действовал через московских немцев, имевших доступ во двор датского посольства, но так как стража, следившая за королевичем, была сильна и после первой попытки бегства неусыпна, королевич должен был отказаться от своих планов.

Медленно тянулось время, не принося Вольдемару ничего нового, никакого утешения, никакой надежды.

Прошло все лето, началась осень, затем зима надвинулась. Датчанам разрешалось выезжать со двора, кататься по Москве, но с таким конвоем, что нечего было и думать о каком-либо решительном новом действии.

Королевич за это время сильно переменялся, с лица осунулся, стал молчалив и ко всему как бы получил отвращение. Ничто его не занимало, не развлекало.

Иногда по целым дням лежал он на лавке. Порывы бешенства, отчаяния — все это прошло. Он убедился, что ничем не может помочь себе, что должен ждать помощи извне и нет у него никаких способов поторопить эту помощь. Появление Маши, свидание его с царевной представлялись ему далеким сном, от которого осталось только смутное, сладкое воспоминание.

К нему не доходило не только никаких вестей из терема, но даже и с царем он не видался ни разу. Всякая пересылка грамот, всякие переговоры были кончены, и с той и с другой стороны все уже оказывалось сказанным.

О чем было теперь говорить? И так слишком долго толковали об одном и том же; обе стороны крепко стояли на своем.

Конечно, королевич хорошо понимал, что от него зависит выйти из этого невозможного положения. Ему стоит только согласиться на требование царя и московитов.

Некоторые из его приближенных, не зная, что и делать, советовали было ему изъявить согласие на переход в православную веру, исполнить все обряды, спасти этим себя и своих людей, а потом, при первой возможности, снова вернуться к лютеранству.

Эти советы для королевича были большим соблазном. Он подолгу, с раздражением и злобой думал о том, как он отплатит своим мучителям.

Ну да, хорошо, он примет для виду православие; женится на царевне, но так как все это будет вынужденным, неизбежным для

спасения свободы и жизни, — потом он уедет с женою в Данию и насмеется над своими мучителями.

Такие планы роились и развивались в горячей голове его; сердце кипело. Но вот проходили часы злобного раздражения, и благоразумие взяло верх. Он начинал ясно видеть, что такой образ действий и недостойн его, и чересчур рискован. В нем поднималась гордость, самолюбие, чувство собственного достоинства, и он уже не слушал своих советников и на все слова их только качал головою.

— Прежде всего неизвестно, спас ли бы я себя этим? — говорил он. — А главное, я не хочу обманывать ни людей, ни Бога, не хочу действовать так, чтобы отец мой мог меня стыдиться. Лучше умру, но останусь достойным сыном короля Христиана.

И тянулись скучные, однообразные дни, недели, месяцы.

— Не мытьем, так катаньем, а дойдем мы «немца»! — толковали ближние бояре.

Однако все же пришлось сделать некоторые уступки. Из Дании от короля Христиана пришли к датским послам грамоты, и после долгого обсуждения решено было гонца пропустить, чтобы не нажить какой-либо большой беды и чрезмерных обвинений.

Послам датским разрешено было явиться к царю и представить полученную ими от короля грамоту.

28 ноября Пассбирг и Биллей были у государя с грамотами. Король Христиан, изумляясь столь непонятно долгому молчанию и проволочке, требовал, чтобы царь исполнил все то, в чем обязался по договору, заключенному с Петром Марселисом. В противном же случае чтобы он отпустил королевича и послов с честью.

Целый месяц молчал царь и только 29 декабря призвал к себе королевича.

Вольдемар даже отступил и вздрогнул, увидев царя, — так его поразила происшедшая в нем перемена. Перед ним был будто другой человек, ему совсем неизвестный.

Михаил Федорович сильно состарился, как-то опух. Цвет лица его был темен, в глазах никакого блеску. Он встретил Вольдемара уже не с прежней ласкою, да и королевич смотрел на него с едва скрываемой ненавистью.

— За что, ваше царское величество, вы меня так мучаете? — начал он прямо. — Зачем берете такой тяжкий грех на душу? Я перед

вами ни в чем не повинен: я ни от чего не отступался и не отступаюсь. Сколько раз просил я отпустить меня, теперь вот и король, отец мой, того же просит, того же требует. Нельзя меня держать силою, если вы не желаете исполнить договор, заключенный вами с отцом моим.

Царь громко вздохнул и с большим трудом хриплым голосом проговорил:

— О чем тут толковать, нельзя тебе, без перекрещения, жениться на царевне Ирине, и отпустить тебя в Данию тоже нельзя, потому что король Христиан отдал тебя мне, царю, в сыновья. Крестись в нашу православную веру и будь мне сыном.

Королевич только блеснул глазами, сжал себе руки так, что они хрустнули, и молчал. Замолчал и царь, только было слышно, как тяжело он дышит.

Так и кончилось это свидание. Прошло еще несколько дней. Новый, 1645 год настал.

9 января<sup>[15]</sup> королевич написал царю:

«Бьем челом, чтобы ваше царское величество долее нас не задерживали; мы самовластного государя сын, и наши люди — все вольные люди, а не холопья; ваше царское величество никак не скажете, что вам нас и наших людей, как холопов, можно силою задерживать. Если же ваше царское величество имеете такую неподобную мысль, то мы говорим свободно и прямо, что легко от этого произойти несчастью, и тогда вашему царскому величеству какая будет честь перед всею вселенною? Нас здесь немного, мы вам грозить не можем силою, но говорим одно: про ваше царское величество у всех людей может быть заочная речь, что вы против договора и всяких прав сделали то, что турки и татары только для доброго имени опасаются делать. Мы вам даем явственно разуметь, что если вы задержите нас насильно, то мы будем стараться сами получить себе свободу, хотя бы пришлось при этом и живот свой положить».

Получив это письмо, царь послал на королевичев двор Шереметева, приказав ему сказать датским послам, чтобы они королевича унимали, чтобы он мысль свою молодую и хотение отложил. Если же, по его мысли, учинится ему какая-нибудь беда, то это будет ему не от государя и не от государевых людей, а самому от себя.

Послы на это отвечали Шереметеву, что они тут ни при чем, что королевич совещается не с ними, а со своими приближенными...

И опять потянулись скучные, холодные зимние дни. Королевич написал отцу, рассказав подробно обо всем и умоляя поскорее прийти к нему на помощь, выручить его, а не то он или с ума сойдет, или руки на себя наложит.

Письмо это было вручено гонцу, но очутилось в посольском приказе.

Для того чтобы Вольдемар не исполнил своей угрозы, не наложил на себя руки, его стали развлекать всячески. Устроили для него медвежью облаву, потом возили его на царскую потеху, на бой кулачный.

Пришлось поневоле всем этим развлекаться, во всем этом находить удовольствие, иначе действительно можно было сойти с ума.

— И нет никого, кто бы за меня заступился, кто бы внушил этим людям, что нельзя так поступать, как они поступают! — жаловался Вольдемар своим послам.

Наконец Пассбург нашел союзника, в дело вступился польский посол Стемпковский, но как вступился! Он пришел к королевичу и стал его уговаривать исполнить царскую волю.

— Подумайте, принц, — говорил Стемпковский, — ведь царь, раздраженный вашим упрямством, может соединиться со Швецией против Дании, тогда вас заточат в дальние страны — подумайте хорошенько об этом!

Королевич подумал и послал Стемпковскому свой ответ в письме:

«Я могу уступить только в следующих статьях, — писал он. — Пусть дети мои будут крещены по греческому обычаю.

1) Я буду стараться посты содержать сколько мне возможно без повреждения здоровью моему.

2) Буду сообразоваться с желанием государя в платье и во всем другом, что не противно совести, договору и вере. Больше ничего не уступлю. Великий государь грозит сколько хочет, пусть громом и молнией меня изводит, пусть сошлет меня на конечный рубеж своего царства, где я жизнь свою с плачем скончаю, и тут от веры святой не отрекусь; хоть он меня распни и умертви. Я лучше хочу с неоскверненной совестью честною смертью умереть, чем жить с злою совестью. Бога избавителя своего в судьи призываю. А что королю,

отцу моему, будет плохо, когда великий князь станет помогать шведам против него, то до этого мне дела нет, да и не думаю, чтобы королевства датское и норвежское не могли справиться без русской помощи. Эти королевства существовали прежде, чем московское государство началось, — и стоят еще крепко.

Я готов ко всему, пусть делают со мною что хотят, только пусть делают поскорее!»

Но больше того, что уж было сделано, с Вольдемаром ничего не делали.

— Крепкий паренек, выносливый, — толковали про него ближние бояре царские, — а все ж таки мы его переупрямим. Год выдержал, другой выдерживает. А не наступит еще конец второго года, сдастся он, чай жить тоже хочется, а это что за жизнь! В плену! Еще как обойдется-то! И вот как, Бог даст, уладится все, пройдет год-другой, сам станет на себя дивиться: из-за чего так долго ломался. Выдержать только надо, не уступать. Хоть мягок государь, а в этом деле он не уступит!..

И не уступал Михаил Федорович. Он знал, как и все знали, что хоть помирать, а в таком деле уступить невозможно. И помирал он от этого дела, тоскуя и мучаясь, ни в чем не находя себе утешения.

С каждым днем чувствовал он себя все хуже и хуже. Опять прошумели весенние воды, опять тепло, греет солнце, но царю холодно, знобит его, и никак не может он согреться. Дохтур уговаривает его делать побольше движений, быть на чистом воздухе. Встанет царь, пойдет — ноги подкашиваются, дышать нечем. Нет, лежать лучше!

Возвращается он в свою опочивальню, ложится на кровать широкую и думает невеселые думы.



Неоткуда взяться у царя спокойным и радостным думам. Не одно это несчастное дело с королевичем его мучает — со всех сторон приходят тревожные, смущающие вести. Будто мрак какой отовсюду надвигается, окутывает царя и дышать ему не дает.

Великий царь всея Руси, самодержец! Ведь живы еще люди, немало их осталось, которые в глубине сердца, конечно, от всех тая свои мысли и чувства злобы, завидуют его доле. Помнят эти люди Михаила Федоровича робким и скромным отроком в семье боярской в смутное время.

Странна была эта семья, залегла в ней какая-то тайная, особенная сила. И отец, и мать Михаила Федоровича были люди необычайной крепости, твердой воли, большого разума; про них говорили: «Нашла коса на камень». Близкие родственники полагали, что не добром кончится брак Федора Никитича — жена ему не уступит, он перед нею не согнется, пойдут беды всякие, раздоры, ненависть...

Но ничего этого никто не видел. Ни Федор Никитич, ни боярыня его из избы сору не выносили. Что было между ними и как они поладили, осталось их тайной. Не дали они потешиться над собою языкам людским, разошлись втихомолку для Божьего дела. Она стала инокиней, он — иноком. Но не таковы они были люди, чтобы ограничить свою жизнь четырьмя стенами тесной кельи...

На руках строгой, разумной и честолубивой матери воспитывался Михаил.

Федор Никитич, превратясь в Филарета, служил великие службы своей родине. Выносил он польскую неволю, не дрогнул и спокойно ждал лучшего времени.

Инокиня вырастила сына и — невидного, неслышного отрока, о котором никто не думал, которого мало кто знал, — посадила на престол московский. Народ его выбрал по Божьему соизволению. Да, народ, да, конечно, в избрании его был виден перст Божий; но первым орудием Божьей воли все же была эта сильная волей и разумная инокиня. Не будь у юного Михаила такой матери, быть может, иная выпала бы ему доля!

Дождался Филарет Никитич лучших времен, вернулся он из тяжкой, долгой неволи и оказался истинным распорядителем судеб России. Наложил он свою могучую руку, свою несокрушимую волю на все дела, крепко ухватил он новосозданный престол своего сына и в трудное время, среди едва утихнувшей бури, оставившей неисчислимы следы разрушения, держал этот престол до тех пор, пока не почувствовал его поставленным на твердую, непоколебимую почву.

Сын оказался не совсем в отца и в мать. Он склонен был больше слушаться своего сердца, чем разума. Мягкого характера, богобоязненный, без отцовской и материнской опоры и поддержки никак не мог бы он удержаться на своем месте. Но мать воспитала в нем послушного сына, и не способен он был выйти из родительской воли.

Он был верным эхом отца и матери, и в конце концов, отходя в иной мир, оба они сумели-таки вложить в него, несмотря на всю мягкость его характера, несмотря на его невольное стремление слушаться своего сердца, те разумные, твердые взгляды, которыми он должен был руководствоваться как царь и как человек.

Потом, уже без них, не раз готов он был дрогнуть и отступить от какого-нибудь серьезного решения, но всегда в таких случаях вставали перед ним, как живые, родители, и он явственно, почти физически, слышал их голос и оставался, как и в прежние юные дни, послушным этому знакомому голосу. Оба они умерли, но дух их жил у московского престола, жил и действовал.

Нередко случалось, что Михаил Федорович, приняв какое-нибудь решение, давая согласие на какую-нибудь меру строгости, чувствовал себя очень неловко: его чуткая совесть начинала упрекать его в жестокости. Но строгий голос отца звучал над ним.

«Или забыл ты, чему я учил тебя? Я, патриарх, служитель Божий, не смущался таким делом, не боялся, что меня назовут жестоким. Я говорил тебе, что венец Мономаха, возложенный на твою голову, принуждает тебя к многому. Ты должен забыть, забыть все и помнить только о том, что твоя первая обязанность — величие и крепость твоей родины, что для этой крепости все тебе разрешается. Если ты исполнишь великий долг свой, тебе простится многое, не исполнишь

его, поступишься чем, хотя бы ради доброго чувства, и все с тебя взыщется сторицею».

Вслушивался царь Михаил в эти слова, и замолкали все его сомнения, и крепло сердце, будто одеваясь железною броней...

«Чти отца твоего и мать твою и долголетен будешь на земле».<sup>[16]</sup>

Святое исполнение этой заповеди обещало царю Михаилу долголетие, и вот, когда в нестарые еще годы, он уже чувствовал приближение не только старости, но смерти, смущало его это обетование. Как ни искал он в глубине души своей и в тайниках своей памяти какой-нибудь вины против заповеди, не находил он ее.

По совести, с чистым сердцем, как на духу, мог он сказать, что был верным, почтительным сыном, что, хоть и трудно ему приходилось порой от крутого отцовского и материнского нрава и тяготила иной раз долгая отеческая опека, он оставался непреклонным. Никакие искушения не отвлекали его хоть на миг один от исполнения великой заповеди, а долголетия, видно, нет, видно, все же хоть и не знает чем, а провинился он!

Он не знал, этот первый царь новой династии, что ему уготовано иное великое долголетие, именно то долголетие, обетование которого и звучит в словах заповеди Божьей. Заповедь обмануть не может. Она говорит о долголетию в потомстве, о крепости на земле того, кто строит дом свой на твердой основе лучших отеческих преданий.

Страдал, болел и, видимо, приближался к преждевременной смерти царь Михаил, но престол русский, устроенный, укрепленный патриархом для сына, получал с годами все больше и больше твердости и являл несомненные признаки обетованного долголетия.

Царь Михаил, верный и послушный сын отца своего, не забывая отцовских советов и вслушиваясь постоянно в родительский голос, неустанно работал над закреплением того, что составляло истинные основы для долголетия его рода... И все шло хорошо. Милость Божия была над царем и над Россией. Оправлялось мало-помалу государство от таких бед, от такого разгрома, перенести которые, казалось, было совсем невозможно. Бывало временами очень трудно, грозили всякие опасности, но тяжкое время проходило, являлись новые обстоятельства и несли с собою успокоение, надежду.

А тут вот, в это последнее время, вдруг со всех сторон стали надвигаться черные тучи, будто вдруг разом исчезли прежние удачи.

Бывает такая полоса в жизни каждого человека, и ни золотой трон, ни высшее могущество, ни все богатства мира не могут избавить человека от такой полосы. Нахлынет волна, и ничего с ней не поделаешь! Одна за другой идут беды...

— Божье испытание! — давно уж говорит себе благочестивый царь и прибавляет в своих мыслях: «Не испытывает Господь сверх сил, надо быть твердым, надо не падать духом».

Но легко это сказать себе, легко понять всю необходимость этого, да трудно, подчас невозможно, совладать со своею слабостью. Коли и дух бодр — плоть немощна.

## XIII

С каждым днем все немощнее и немощнее становится плоть царя Михаила. Каждое новое тревожное известие жестоко ударяет его в самое сердце, и трепещет сердце, болит, слабость оковывает все члены, дух замирает, дышать нечем. А тучи все сгущаются, беды все прибывают. Старое зло, которому, казалось, уже конец наступил, снова появилось. Приходят дурные вести о самозванцах. Приходят они из Турции и из Польши.

В октябре 1644 года греческий архимандрит Амфилохий прислал из Царьграда грамоту, извещая, что два турка приехали к султану с грамотою, написанною по-русски, и просили переводчика. Вот им и указали на архимандрита Амфилохия. Прочел он их грамоту, но не понес ее к султану, а переслал ее в Москву.

В ней написано было такое обращение к султану:

«Милостивый и вельможный царь, смилуйся надо мною, бедным невольником. Ты мне отец и мать, потому что не к кому мне прибегнуть к другому. Когда я шел из земли персидской в польскую, то встретились мне твои люди, казну у меня взяли, самого меня схватили, к тебе не везут, а запродали жидам. Если ты надо мною смилуешься, то будешь отцом и матерью мне, грешному и бедному невольнику, московскому царевичу. Если по милосердию твоему овладею землею московскою, то будет она мне пополам с тобою».

Грамота эта подписана: «Князь Иван Дмитриевич, московской земли царевич, рука властная».

Но то далеко, в Турции, а вот гораздо ближе, в Польше, еще хуже дела делаются. Поляки не унялись, по-прежнему зло замышляют, по-прежнему готовят, воспитывают самозванцев. Один называет себя Семеном Васильевичем Шуйским, сыном царя Василия Ивановича, и доказывает свое царственное происхождение тем, что у него пятно на спине. Взяли будто его в плен черкасы,<sup>[17]</sup> когда царя Василия из Москвы везли в Литву, и с тех пор жил у черкасов. Теперь подскарбий коронный<sup>[18]</sup> Данилович, по приказу шляхты и всей Речи Посполитой, держит его и бережет, учит русскому языку и грамоте.

А в Бресте-Литовском, в иезуитском монастыре, другой ворсамозванец. На спине у него, между плечами, тоже герб, и сказывается он сыном Лжедмитрия.

Царь послал в Польшу надежных людей с тем, чтобы всеми мерами добыть этих самозванцев, но первого не достали; поляки отговаривались полным неведением относительно того, куда он делся.

Между тем польские паны говорили в Кракове русским послам: «Если у вас, послов, с панами радными в государственных делах соглашения не будет, то у нас Димитриевич готов с запорожцами и черкасами на войну».

Наконец, приехал к московским послам коронный канцлер Оссолинский и говорил, что король поручил им сказать, что он ради братской дружбы и любви великого государя не постоял бы за такого мужика, который выдает себя царевичем, но мужик этот не виноват ни в чем. Он не царевич и себя таковым не именует, он простого отца сын, из Подляшья.<sup>[19]</sup> Воспитал его поляк Белинский и назвал царевичем, сыном Марины Мнишек. Этим он хотел выслужиться перед королем, но король велел отослать его к Гонсевскому, а тот стал его держать у себя и учить, полагая, что он может пригодиться, так как тогда были враждебные отношения между московским государством и Польшею.

Но ведь теперь заключен мир на вечное dokonчание, и никто того мужика царевичем не называет, скитается он без приюта по шляхтичам и о московском государстве не думает. Он поляк, а не русский и желает как можно поскорее сделаться ксендзом. Имя его Иван Дмитриев Луба, и выдать его царю как ни в чем не повинного человека невозможно: перед Богом грех и перед людьми стыдно.

Но послы московские: князь Львов, думный дворянин Пушкин и дьяк Волошенинов — на этом не могли успокоиться.пустили они в ход все свое красноречие, убеждали панов всяким манером, так пристали к ним, с такою чисто московскою упрямою, что пришлось полякам сдаться. Поехал в Москву великий посол королевский, Стемпковский, и повез с собою самозванца Лубу.

Этот Луба, действительно ни в чем не повинный, несчастное орудие козней панов польских, оказался человеком тихим, робким, безобидным. Его воспитали, внушая ему мысль, что он московский царевич. Когда обстоятельства изменились и существование подложного царевича уже стало ненужным, ему объяснили, что он

вовсе не царевич. Воспитали во всяком довольстве, дали порядочное образование, подготовили к той роли, которую, может быть, придется ему играть, а теперь взяли да и пустили по миру.

Луба примирился со своей участью, простил людям великую обиду, возмутительное издевательство над ним и стремился к одному — сделаться служителем Божьим, посвятить всю свою жизнь церкви и добрым делам.

Между тем в Москве все эти обстоятельства, изложенные Стемпковским, и самый вид несчастного Лубы не произвели никакого действия.

Лубу требовали от Стемпковского, но тот его не выдал. Бояре донесли об этом царю, и царь, не имевший ровно ничего против этого человека, знавший одно, что он не может допустить его существования ради спокойствия России, велел сказать Стемпковскому, что если Луба не будет отдан, то он, царь, боярам и думным своим людям ни о каких делах с ним, послом, говорить и его посольских речей слушать не велит.

Списались с польским сеймом и королем. Король ответил:

«Луба человек невинный, никакого лиха и никакой смуты не чинил и чинить не будет, но монашеского, духовного чина желает, и не для того он при нашем после к вам послан, чтобы его выдать, а только для того, чтобы невинность его и ни к какой хитрости неспособность перед вашим царским величеством была обнаружена. Вам, брату нашему, известно, что в нашем великом государстве нельзя и не ведется природного шляхтича выдавать, а если окажется виноватым, то его тут же и казнят. Но на Лубе никакой вины не объявилось, и вам бы при великом после нашем этого Лубу поздорову отпустить не задерживая».

Таким образом, затянулось это дело, затянулось так же, как и дело королевича. Смущает оно царя, не дает ему покою. Порою кажется ему, что все против него, все действуют только для того, чтобы досадить ему, его принизить действуют от зависти.

А то придет и такая минута, — чувствует царь, что неладное что-то и он творит вместе с боярами. Вот и король относительно Лубы, и королевич с послами датскими относительно их отпуска пишут так вразумительно, что даже читать царю неловко. Никому он не желает зла, никакой в нем нет жестокости, желает он только блага и добра

одной России, а выходит будто так, что он сам зачинщик всякой неправды, что творит он только жестокости: тут вот невинного человека требует, чтобы казнить его, здесь отказывается от договора и силою удерживает королевича пленником из-за того, что тот не хочет отказаться от своей веры!..

Приходит царю на мысль: «Ну а что кабы меня заставляли отказаться от нашей святой православной церкви!» Жутко царю и помыслить об этом, «Да, но ведь то Лютерова ересь, то басурманы! А коли королевич православие ересью считает?... Как же он может, как же смеет считать?»

Закипает больное царское сердце, и не может он никак разобраться в этих противоречиях, не может потому, что не умещаются они в голове его, не в таких взглядах воспитали его отец с матерью, а новых понятий о справедливости, о том, что можно и чего нельзя, взять еще неоткуда. Тяжко и тошно царю.

— Господи, помоги мне! Возри на слабость мою, не по силам мне испытание! — стонет он, и слезы муки стекают из потускневших глаз его по бледным опухшим щекам.



## XIV

— Что, батюшка? Что, мой золотой? Опять, видно, неможется? — говорит царица, входя в царскую опочивальню и приближаясь к кровати, на которой лежит царь в обычной ему теперь позе, подложив руку под голову, на правом боку, так как на левом не пролежать и минутки, — тотчас же будто под сердце вода подольет. Замрет оно, потом шибко заколотится, дух захватит.

Царь поднял усталые глаза на свою верную, Богом данную ему подругу и глядит на нее пристально. Видит он, и в ней за это время большая перемена, и поражает его перемена эта, несмотря на то что лицо царицы, по обычаю, все набелено, щеки нарумянены, глаза и брови подкрашены. Видит он перемену и в походке ее, в звуке ее голоса, в тихом вздохе, который она скрыть не может.

— Да и тебе, видно, тоже неможется, Дунюшка? — говорит он, указывая ей на кресло у изголовья своей кровати.

Она присела.

— Что ж обо мне-то толковать! Тебе, государю моему, хорошо — и мне хорошо, тебе худо — и мне худо.

— Это ты неладно рассудила, Дунюшка! — старается улыбнуться царь. — Изводить тебе себя, на меня гляючи, нечего. О детях должна думать.

— Невеселые думы!.. Вот Иринушка совсем меня сокрушает...

Царица сама испугалась, как это так обмолвилась, как выдала царю ту тревожную мысль, которая теперь ее не оставляет, с которой она пришла и сюда, — да уж сказанного слова не воротишь...

— Что Иринушка? — спросил царь. — Нешто и она нездорова? Говори прямо, не то, хоть и трудно, сам пойду ее проведать, сам стану ее расспрашивать.

Царица махнула рукою.

— Да что расспрашивать! От нее ничего не добьешься, молчит она, ни на что не жалуется.

— Коли нездорова, полечить ее надо. Я и сам заметил, что она ровно похудела.

— Уж и не говори! — вздохнула царица. — С каждым днем худеет. По ночам плачет, княгиня Марья Ивановна сказывала.

Царица не замечала теперь, как она проговаривается. Хотела ничем не расстраивать больного мужа, испугалась своего первого слова, а теперь и высказывает все, что на сердце. Забыла она теперь сразу, в одну минуту, что он болен, что его беречь надо, думает только о дочери, видит только ее перед собою.

— Что ж ты об этом мыслишь? — тревожно спросил царь.

— Жених все наделал! — решительно высказала царица.

Михаил Федорович приподнял голову с подушек и сел на кровати.

— Да нешто она знает? Ведь приказывал скрывать от нее, ей про это дело до поры до времени знать нечего.

— Так, так! — кивала головой царица. — Я ли не наказывала строго-настрога, чтобы никто ей одним словом не проболтался, да как тут убережешь. Хоть день и ночь не спускай глаз, а все же чего не надо знать, то узнается. Сколько народу у нас в тереме, и народ все хитрый-прехитрый, видно, давно ей шепнули, и я так полагаю теперь, что ей все доподлинно ведомо.

— Ох! Уж этот мне жених! — схватился царь за голову руками.

— Говорила тогда, не начинать бы... — невольно вырвалось у царицы.

Побагровели бледные щеки царя, крикнул он хриплым голосом:

— Ты опять о том же! Ведь говорил я, говорил тебе!..

— Прости, батюшка! Прости, государь! — зашептала царица. «Ох, я глупая! — думала она с мученьем и тревогой. — Голова идет кругом, никак не могу удержать своего сердца. Убей он меня, в толк не возьму, зачем это так нужно? Зачем всю эту кашу заварили! Поискать, и свой бы хороший человек нашелся. Эка невидаль — заморский, басурманский королевич!»

Между тем царь, победив в себе волнение, которое было слишком для него мучительно, говорил:

— Что же меня и мучает пуще всего, как не это дело!.. Начато оно, кончить его надо, беспрерывно надо, а как тут кончить?

Царица опять не сдержала сердца.

— Зачем было немцу Марселису наказывать, чтобы он уверял Христиануса, что королевичу помешки в вере не будет?

— Это уж мы так тогда с боярами решили! — в раздумье произнес царь. — Оно и точно, кабы не уверял Христиануса Марселис, так Вольдемара бы на Москву не отпустили.

— А что же теперь, лучше, что ли? Вот он здесь, и никакого толку, только срам один, только языки все чешут, мы с тобой убиваемся, а на Иринушке лица нет!

— Кто такое мог помыслить, чтобы он оказал столь лютое упрямство? Ведь я то ж... я не дурного чего прошу от него и требую, а к Богу привести хочу...

— Нешто он может понять это? — перебила царица. — На то он и басурман. Вот помяни ты мое слово, хоть десять лет ты его держи тут, он от своего еретичества не отстанет.

— Это и он сам пишет мне.

— Ну вот видишь!

— Да что видеть-то! — в приливе нового отчаяния воскликнул царь. — Вижу одно: необходимо Ирине быть за ним, и нельзя оставить этого дела!

— Что же тут!.. Ты никак держишь в мыслях, что можно ее обвенчать с нехристом? — испуганно спросила царица. — Так ведь ежели бы мы такое сделали, не токмо бояре и боярыни, но и весь народ русский перестал бы почитать нас!

— Это я и без тебя знаю, жена! — мрачно сказал царь. — И никогда у меня в мыслях не было венчать ее с еретиком! Нет, — ухватился он за единственную надежду, которая его еще поддерживала, — угомонится королевич! Попервоначалу-то он рвал и метал, бежать собирался, а теперь затих. Выдерживать надо, время все исправит — сдастся он.

Царица отрицательно покачала головою.

— Не жди ты этого!

Царь с сердцем отвернулся от нее, и голова его опять упала на подушки.

— А ты лучше смотри за нею! — тяжело дыша, заговорил он. — Да накажи Марье Ивановне, чтобы она глаз не спускала... Так-то!.. Ты вот от меня что-то нынче все скрывать начинаешь, а довелось мне услышать, у тебя в тереме неладное творится: воры объявляются; всякие зелья у девчонок находят... какая такая девчонка с зельем поймана?

— Э, государь, пустое! Не тревожься ты, Христа ради. Кабы что было важное, стала ли бы я скрывать от тебя?

— То-то пустое! Нет, видно, не пустое, коли я говорю. Прикрыли, затушили дело, а о деле том вся Москва кричит, — какая такая девчонка с зельем попалась, спрашиваю, а ты отвечай мне прямо!

— Да есть тут одна... к Иринушке приставлена!.. — с великой неохотой и новой тревогой прошептала царица.

— То-то и есть, к Иринушке приставлена!.. Быть может, от этой девчонки и беда вся.

— Нет! — воскликнула царица. — Кабы она в чем была виновата, не стала бы я покрывать ее. Иринушка больно ее любит, так в нее и вцепилась, сама плакала, на коленях меня упрашивала. Не троньте, говорит, Машутку, люблю я ее, она ничего дурного не сделала и сделать не может.

— Машутка... — прошептал царь, припоминая. — Ах да, бойкая такая, быстроглазая! — вспомнил он. — Чего ж это Иринушка так к ней привязалась? Неладно тут что-то. Не она ли и ослушивается нашей с тобой воли? Не она ли и про королевича Иринушке шепнула да и вести ей всякие передает о нем?

Царица заволновалась.

И как это ей самой до сих пор не пришло в голову. Ведь и то правда!

— Смотри в оба! — между тем говорил царь. — Чтобы хорошенько следили за этой Машуткой, и как только что — не покрывать ее! Да и что за приятельство между нею и нашей дочкой?... Ох, тяжело мне! — вдруг простонал он, хватаясь за грудь, и замолчал.

Царица тоже ничего не говорила.

Так прошло несколько минут. Царь задремал.

В это время в укромном уголке царицына терема, в опочивальне царевны Ирины, происходила тоже беседа, горячая и быстрая, под страхом, что кто-нибудь придет.

Царевна говорила Маше:

— Ну что ты мне душу надрываешь, Машуня, чего ты меня успокаиваешь? Что ты твердишь мне, зачем я хуюеу да скучаю? С чего же мне радоваться? Вся жизнь опостылела. Да и на себя посмотри, та ли тоже и ты, что была прежде?

Действительно, за этот год большая перемена произошла в обеих девушках. Обе они созрели, обе похорошели, но при этом вид их был печален, не тот, что прежде. Даже Маша уже не казалась бесенком. В ее больших темно-серых глазах явилось совсем новое выражение. Она теперь слушала царевну и вздыхала.

— Подумай только, ведь целый год прошел с того далекого вечера, — продолжала Ирина, — целый год я его не видала! И не было за это время не только дня, но и часу, чтобы не думала я о нем, не вспоминала. На миг один он был со мною, но кажется мне, будто весь век его знала и любила!..

Маша вздохнула при этом еще глубже.

«А я... — мелькнуло в ее мыслях, — ведь и со мной то же. Кабы она знала... только никто о том и никогда не узнает!..»

— А он... что с ним? — жаловалась царевна. — Ведь вот уж сколько времени мы ничего, как есть ничего про него не знаем. На Москве ли он еще или уже уехал?

— Ну, это-то мы знаем, — перебила Маша. — Говорят, вот и хочет уехать, да держат его, не пускают, в плену он... и все из-за своего упрямства...

— Да вот видишь! А ты тогда что говорила?

— Что же я говорила, царевна?

— Забыла, видно!.. Я-то не забыла. Ты ведь уверяла меня, что стоит ему повидаться со мною — и он откажется от своей еретической веры и крестится в веру православную.

— Да, это точно я говорила, — вспомнила Маша, — так и теперь повторяю то же. Сама поразмысли: кабы ты его попросила хорошенько, он бы и не смог отказать тебе, а ведь виделись вы тогда всего на одну малую минутку, ни слова не сказали друг другу.

Царевна покачала головой и горько усмехнулась.

— Нет, Машуня, видно, я ему пришлась не по нраву. Кабы так полюбил он меня, как я его полюбила, не выждал бы он этого долгого, тяжкого года; кабы любил он меня — не стал бы упрямиться. Он и думать обо мне позабыл, одно только и в помышлении у него, как бы выбраться отсюда скорей в свою басурманскую землю. Видно, там девицы лучше меня, больше ему по вкусу!..

— Ах, нет, нет, не говори так, царевна! Что такое мы знаем? Может, он истомился пуще нашего... пуще твоего, — поправились Маша.

— Да пойми ты, пойми, Машуня, не могу я так больше жить — тошно мне, душно! Уж хоть бы один конец, а то что ж это такое?

Царевна замолчала и, не в силах будучи совладать с собою, залилась горькими слезами.

Маша глядела на нее каким-то особенным пристальным, странным взглядом, и все больше и больше сдвигались ее тонкие брови. Она, видимо, решила на что-то. Вдруг она тряхнула своей русой головкой, в глазах ее загорелся прежний огонек.

— Ныне же я попытаюсь его увидеть, — прошептала она, бледнея и чувствуя, как от одной мысли об этом свидании застучало, забилося ее сердце, но не от страха, не от робости...

Остановились царевнины слезы, поднялась она с места, ухватила Машу руками. На лице изобразился ужас, но и в самом этом ужасе как бы светила надежда.

— Что ты? Что ты? Опомнись! — шептала она. — После того, что было?... О двух ты головах, что ли?

Усмехнулась только Маша и тряхнула своей густой косой.

— Голова-то у меня одна, да и той не больно-то жалко. Коли пропадет — туда и дорога. Да нет, зачем пропадать.

— Ведь следят за тобою, Машуня, по пятам следят, сама знаешь, да и я знаю, ведь уж как помог только Бог тебя от напраслины отстоять, от пытки избавить, а тут ты сама так прямо в руки своим злым врагам и лезешь. Нет, нельзя этого — нечего и думать!

Но по лицу Маши царевна видела, что она вовсе не желает отступить от своего безумного плана. Вздохнула царевна.

Боже милостивый! Чего бы ни дала она, чтобы иметь возможность согласиться на предложение подруги! Но согласиться нельзя. Тоскует и сохнет она по королевичу, только ведь от этого ей не меньше жаль Машу, не меньше от этого она ее любит и за нее страшится.

Поборола она в себе искушение и твердым, строгим голосом проговорила:

— Машуня, чтобы об этом не было между нами речи больше, я тебе запрещаю, слышишь!

— Слышу, царевна, — проговорила Маша, — твоя воля!

Вошли боярышни и оттеснили Машу от царевны. Ушла Маша к себе в свою светелку, присела у окошечка, распахнула его. День чудесный, жаркий и солнечный, точь-в-точь такой же, какой был тогда, год тому назад. Под окошечком густая зелень; за деревьями виднеется забор знакомый, а там за ним, за этим забором, тоже знакомая, памятная дорога.

«Боится... за меня боится, — думает Маша, — добрая она. Ведь кабы не она, не ее любовь ко мне, где бы я теперь была? Королевич!..»

И вдруг она вздрогнула, и горячая краска залила ее щеки. Так живо, живо, будто сейчас это было, припомнила она тот вечер, когда прыгнула она с забора у него в саду, а он ее обнял, целовал, целовал... Никогда за весь год не вспоминалось это так живо!

Увидеть его, заглянуть ему в ясные очи, услышать его голос...

«Она боится... Будь она Машуткой — не пошла бы, ну а я пойду... пойду для нее и скажу ему: «Королевич, сдавайся — царевна тебя любит, царевна ждет тебя». Скажу, взгляну на него, и пусть меня пытаются... умру, о нем думая! Вот так подумать, так себе представить... чтобы и смерти не заметить!..»

Долгим, долгим показался этот день для Маши; солнце будто поддразнивало ее, не спешило закатываться, стояло и палило землю своими летними лучами.

Бродила Маша по терему, все высматривала, выслушивала. Положение ее в тереме теперь незавидно. Кабы не царевна, давно бы уж бежала она куда глаза глядят. Все-то от нее отворачиваются, слова ей по-человечески не скажут, а заговорят — сейчас попреки, брань,

воровкой называют, колдуньей... Сколько слез пролила она из-за обид этих! Но теперь ей все равно, брани и обижай ее кто хочет — ничего этого она не замечает, — все люди, все в мире исчезло для нее, не существует... лишь бы скорее вечер...

Настал наконец этот мучительно ожидавшийся ею вечер. Потемнел терем, зажглись огни. Скользнула Маша в сад, крадется по дорожке к забору, вот уж добралась до того места, где в прошлом году перелезала. Вся она горит, бьется в ней каждая жилка, и не слышит она в своем волнении, что по пятам за нею крадется кто-то.

Она у забора. Уже ухватила рукою за выдвинувшееся бревно.

— Так я и знала! Ах ты поганая девчонка! Ах ты колдунья негодная! За старое? Ну уж теперь не отвертишься, уж теперь не уйдешь от пытки, ни царевна, ни царица за тебя не заступятся! Царица-то вон строго-настрого приказала не упускать тебя из виду... Так еще не забыла старого! Опять к дружку милому, к вору пробираться!

Все это, шипя и задыхаясь от злобы, быстро выкрикивала Пелагея, хватывая Машу и оттаскивая ее от забора.

Но первое мгновение неожиданности и ужаса уже прошло, страшная злоба подступила к сердцу Маши, вывернувшись она, изо всей что было мочи ударила кулаком Пелагею — куда и сама не знала. Пелагея дико вскрикнула, выпустила ее из рук и упала на землю.

«Батюшки, уж не убила ли я ее?» — мелькнула мысль у Маши, но тотчас же забылась. В один миг она была на заборе, перелезла на ту сторону и пустилась бежать, как стрела.



Быстро добежала она, едва переводя дыхание, до забора королевичева сада, огляделась — нет никого... Только что это: забор-то ведь не тот! Прежде был низенький, в этом месте бревна старые разошлись, повылезли, ничего не стоило на них вскарабкаться, а теперь стоит новый да высокий. Попробовала на него лезть Маша — не может, дрожит вся, в руках, в ногах силы нет. Села она у забора и горько заплакала, как не плакала ни разу в жизни.

Что же теперь будет с нею?

Слышала она, что денно и ночью караулы стрельцкие кругом всего двора королевичева ходят, вот уж и забор новый поставили, — крепко стерегут королевича. Найдут ее стрельцы, поймут, надругаются только над нею, и пропадет она навеки, и не узнает, не услышит о ней королевич. Назад бежать — так ведь там что она наделала? Пелагея-то, чай, уж подняла на ноги весь терем.

А ну коли она и впрямь убила Пелагею? Ох, от одной мысли вся теперь она похолодела. Нет, ни за что, ни за что не вернется она в терем.

Долго сидела Маша и плакала, выплакала все свои слезы. По счастью, стрельцы не проходили, не нашли ее. Отдохнула она, собралась с силами и опять полезла на забор.

Теперь уже не дрожат руки и ноги, словно в них явилась сила прежняя, вернулась к ней вся ее ловкость.

Ох, долезет ли?

Долго билась Маша и все же в конце концов забралась-таки на забор, только всю себя исцарапала, одежду на себе изорвала.

Сидит она наверху забора, смотрит вниз, в сад королевича, прислушивается. Все тихо. Темно под нею, и чудится ей, что висит она над бездонной пропастью.

А может, и впрямь тут глубокий ров вырыли? Но вот она заметила, хоть и темно было, что поблизости старая кудрявая береза. Доползла она по забору до этой березы, пригляделась, один-другой сук попробовала, добралась до крепкого, толстого, прыгнула и повисла на нем. По березе-то куда было легче спускаться — еще больше только

разодрала себе одежду. Правая рука вся липнет — видно, кровь... всю ладонь так и жжет.

Но все-таки прыгнула Маша в густую, покрытую росой траву, и только тут, очутившись на земле, она почувствовала, что все силы ее оставляют, голова кружится, все будто уходит от нее куда-то, будто земля расступается под нею, и летит она не то вверх, не то вниз. Потеряла Маша сознание.

Мало ли, много ли времени лежала так без чувств девушка, но вот она очнулась, собирается с мыслями, соображает: где она? что с нею? Вспомнила все, вспомнила и слушает, как бьется ее сердце. Трава дышит на нее душистой прохладой; над нею древесные ветки, а там, за ними темное, звездное небо.

Все тихо. Она лежит не шевелясь. Вдруг где-то неподалеку раздаются голоса.

Голоса все ближе. Это там, за забором... видно, стрельцы караульные обходят. Счастье-то какое, что не попала она им в руки! Да, счастье, но все же, что делать ей теперь? Как быть? Где искать королевича? Не идти же по саду прямо в хоромы, на кого еще натолкнешься. Нет, об этом и думать нечего! Надо здесь его ждать. Неужто он совсем забыл прежнее? Неужто никогда сюда теперь не заглядывает?

Ночь глубокая. Спит теперь королевич, не придет он, до утра ждать надо. Что-то утро скажет? И звучит у нее в ушах с детства памятный старушечий голос нянюшки, сказывавшей в тереме сказки: «Утро вечера мудренее! Утро вечера мудренее!»

Под этот далекий старушечий голос, под эту все повторяющуюся фразу, незаметно заснула Маша.

Проснулась она. Солнце ярко светит, взглянула она на себя и ахнула: вся-то разорвана, вся растерзана. Растрепалась коса густая; вся правая ладонь ссажена, кровь запеклась, и в то же время чувствует Маша и голод и жажду. Кругом все так же тихо, как было и раньше. На забор она взглянула: так и ахнула, вышина-то какая! И увидала, что не доползи до березы, не слезь по дереву, расшиблась бы она вдребезги. Кругом кусты, трава густая. Тихонько-тихонько пробралась она в кусты, выглянула. Знакомая березовая аллея, никого не видно, не слышно.

Опять вернулась на свое прежнее место Маша, села в траву и задумалась.

Боже мой, Боже! Что теперь творится в тереме? Беда. За нею, наверное, снаряжена погоня, по всей Москве ее ищут.

— Пропала моя головушка! — громко вздохнула Маша. — Ну да что уж теперь жалеть, на то и шла! А царевна? Плачет она теперь, голубушка, меня жалеючи... никогда нам больше с нею не видаться!..

Заплакала Маша. Слезы ее остановили людские голоса. Вздрогнула она, прислушалась. Вблизи по аллее идут люди, говорят, а что говорят, понять невозможно. Немцы... взглянуть бы, может, с ними королевич. Да как взглянуть-то? Боязно — себя выдашь.

И она притаилась, не дышит. Прошли мимо. Опять стала плакать Маша, только и плакать уже надоело, голод мучает, во рту совсем пересохло, язык будто деревянный, пить страсть хочется.

Солнце уже высоко стоит на небе; мучительные часы проходят, и с каждым новым часом все невыносимее становится Маше. Лежит она в траве, теперь уже не плачет, голова у ней разболелась. Думала, думала, все передумала, и даже мыслей нет.

Солнце склоняется к западу; все длиннее и длиннее становятся тени от кустов и деревьев; ветерок поднялся; прохладнее сделалось.

«Долго ли мне так лежать? Не встать ли? Не идти ли — ведь, может, он не только нынче, но и завтра, но и никогда не придет сюда. Что ж тогда? Помирать здесь с голоду?»

Судьба сжалилась над Машей. Солнце еще не зашло, как она услышала звуки немецкой песни, уж знакомой ей, той самой, какую пел год тому назад королевич. Да и теперь это он, его голос...

Захватило дыхание у Маши. Ей ли не узнать этого голоса! Он... он это, сердце говорит, что он... Боже, счастье-то какое! Один ли? Но теперь все равно!

Она подобралась к кустам, выглянула — и видит: вдали, по аллее, идет королевич.

Один он! Один!

Вмиг была она перед ним, и уж теперь не он ее обнял, не он стал целовать ее — сама она, бессильная и истерзанная, с глухим, мучительным рыданием, почти упала на грудь его и обвила его шею руками.

Он долго не мог в себя прийти от изумления, радости и страха. Он ничего не понимал.

Когда Маша очнулась, он с восторгом, жалостью и ужасом глядел на нее, на ее растерзанную одежду, растрепавшиеся волосы, окровавленные руки.

Он старался понять — сообразил и понял наконец, почему она так растерзана, почему она в крови. Как только могла она добраться сюда, через этот забор? Чудная, непонятная девушка.

Он готов был своими слезами смывать кровь с ее ручек.

Что же теперь делать? Ее надо проводить в безопасное место так, чтобы никто ее не видел. Он объяснил ей, чтобы она ждала его здесь, в кустах, что он все устроит и вернется в миг один. Он стал прежним Вольдемаром, горячим, смелым юношей.

Он сообразил, что одному трудно будет все устроить, надо посвятить в секрет Генриха Кранена. На его скромность, на его молчание и преданность можно положиться.

Он нашел Генриха и все рассказал. Тот в первую минуту просто подумал, что королевич сошел с ума, до такой степени этот рассказ представлялся невероятным.

Решили, что надо дождаться, пока стемнеет. Когда наступил вечер, под охраной Генриха, Вольдемар провел в свои покои Машу.

Здесь она смогла вымыться, привести в порядок свою одежду, здесь королевич сам накормил и напоил ее. Это был один из самых счастливых, самых лучших вечеров его жизни.

Королевич сказался нездоровым; двери его заперты на ключ. Маша весь вечер передавала Вольдемару горячим шепотом все, что было с нею в течение этого года до сегодняшнего дня. Говорила она про царевну, но он пропускал мимо ушей слова эти; до царевны ему уже не было никакого дела. Он любил одну Машу. Он восторженно глядел на нее, и казалось ему, что такой чудной красавицы никогда не видал он в жизни.

Он восхищался ее смелостью, страдал всем сердцем, слушая об ее несчастьях. Наконец, когда уже ничего не осталось ей рассказывать, само собою представился вопрос: что же делать дальше?

В терем вернуться ей невозможно, об этом нечего и думать, это хорошо понимали как он, так и она...

Было уже поздно, все в доме заснуло, но им не до сна. Сидят они рядом, в уголке на широкой лавке, окруженные мягкими, алыми подушками. И Маша, и Вольдемар не замечают, что крепко держатся они за руки и глядят друг на друга влюбленными глазами. Ничего не видят они, не знают, где они и что с ними...

Они в объятьях друг друга, и Маша не говорит ему о том, что он обознался, что он принял ее, бедную простую девушку-сироту, за царевну... Он целует ее, и она отвечает ему безумными поцелуями... И не слышат они, как кругом, вокруг них и над ними, хохочут-заливаются бесенята.

Бесенята сшутили ловкую шутку и рады — смеются.

## XVII

Когда яркое солнце заглянуло в маленькие оконца и разогнало весь сладкий сумрак ночи, Маша долго была в забытьи, не могла сознать и понять действительности.

Но действительность эта все громче и громче врывается вместе с дневными звуками в тихий уголок, где лежала девушка, наконец призвала ее к себе и показала ей без прикрас, в которые любовный хмель может нарядить что угодно.

Подняла Маша свою отяжелевшую голову с мягких подушек, огляделась испуганным взглядом — и горько заплакала. Хоть и была она легкомысленным, беспечным бесенком, хоть никто и не внушал ей никогда толком понятия о добре и зле, но все же теремная жизнь и плохие примеры, слишком часто виденные ею, не искоренили в ней этих врожденных понятий.

До сих пор, даже после самых злых своих шалостей, от которых приходилось страдать людям, она никогда не задумывалась над своими поступками. Когда Настасья Максимовна или другой кто из старших, поймав ее на чем-либо недолжном, с сердцем на нее накидывались и кричали: «Стыда в тебе нет!.. Совесть-то у тебя где? Куда ты ее спрятала?» — Маша действительно чувствовала, что ей ничуть не стыдно; что же касается совести — она чистосердечно могла поклясться, что никуда ее не прятала, так как решительно не знает и не понимает, какая это такая штука — совесть.

Во всю свою жизнь только раз один испытала она стыд. Было это позапрошлым летом. Гуляла она с царевной своей и с боярышнями по саду.

Девочки резвились, бегали взапуски, играли в горелки, пели песни, кричали и визжали так, что княгиня Марья Ивановна Хованская, бывшая при царевне, несколько раз зажимала себе пальцами уши и наконец, видя, что этого девичьего, совсем еще детского веселья не уймешь и что пуще и пронзительнее всех визжит царевна, ушла подальше: Если Ирина визжала пронзительнее всех, то проворнее и задорнее всех оказывалась, конечно, Маша. Вся раскрасневшаяся, с растрепавшейся толстой косой и обезумевшими от

веселья, расширившимися глазами, она кружилась и вертелась, как волчок, мчалась, как птица, едва касаясь ногами густой и мягкой травы лужайки. Она ничего не сознавала, вся охваченная развивавшейся в ней силой жизни.

Вдруг, стремясь схватить с визгом спасавшуюся от нее подругу, она споткнулась, упала со всего размаху и о попавшийся острый черепок сильно разрезала себе ногу. Кровь так и хлынула. Все кинулись к ней, а царица, увидя кровь, побледнела и перепугалась ужасно.

— Матушки! Да ведь она изойдет кровью! — наклонясь над Машей, взволнованно говорила Ирина. — Бегите вы все скорее, бегите к княгине Марье Ивановне, где это она?... Зовите ее сюда!.. Да воды несите, тряпиц...

Боярышни со всех ног бросились исполнять царевнины приказания, а сама Ирина осталась со своей любимицей, которая хотела было подняться на ноги.

— Боже тебя избави! — крикнула испугавшаяся ее движения царица. — Не шевелись, не то кровь еще пуще побежит... Да чулок-то, чулок сними, а то кровь запечется, и тогда не отодрать его будет... Беда!..

Но Маша, побледневшая было не столько от боли, сколько от неожиданности и перепугу, вдруг вся так и вспыхнула и подобрала ногу, очевидно не желая снимать чулка.

— Что ты?... Снимай же скорее чулок! — волновалась и приказывала царица. Маша не слушалась и краснела еще больше. Тогда Ирина, не говоря худого слова, сама стащила с нее чулок. В это время прибежали с кувшином воды две боярышни.

— Ах ты, Машутка, что это у тебя на ноге-то? — наклонясь и в ужасе, смешанном с отвращением, крикнула одна из боярышень. — Меченая ты, да и метка у тебя какая противная — мышь большущая, с хвостом!.. Стыд какой!

Действительно, у Маши на ноге была отметина — родимое пятно большое, черное, густо покрытое как бы шерстью. Оно нисколько не безобразило ее стройную ногу; но еще до жизни в тереме царском, еще у себя дома, при отце с матерью, все попрекали маленькую девочку этой ее «мышью». Она привыкла смотреть на свое странное родимое пятно как на что-то позорное, стыдное и, поступив в терем, тщательно

его ото всех скрывала. А тут вот оно и обнаружилось, да вдобавок при царевне... а царевна смотрит...

Маша закрыла лицо руками, и хотелось ей провалиться сквозь землю. Никогда и не думала она, что можно так стыдиться, совсем она со стыда сгорела... А боярышни смеются, дразнят «мышью»...

Вот теперь, как только пришла она в себя среди королевичевой светлицы, прежде всего почему-то вспомнился ей этот случай во всех подробностях — и то же чувство стыда как в тот день, охватило ее всю. И, как и тогда, захотелось ей провалиться сквозь землю, чтобы никто и никогда не увидел ее больше.

Но мало того, что-то уж совсем неведомое, никогда еще в жизни не испытанное схватило ее за сердце и так засосало, что тошно сделалось.

Упала она лицом в подушку и зарыдала.

«Что я наделала, что наделала! — не думалось, а чувствовалось ею мучительно и невыносимо. — Окаянная я, подлая девчонка!.. Царевна моя... золотая моя, добрая царевна!.. Ждет она меня... плачет... о нем нежно думает... а я!.. Убить меня мало!.. Куда мне деваться?... Побегу, утоплюсь в Москве-реке — одна мне и дорога!..»

В это время дверь скрипнула, вошел кто-то. Маша крепче уткнулась в подушку и безнадежнее зарыдала. Не видела она, но знала, наверно знала, кто это вошел, и стало ей еще тошнее, еще невыносимее.

Он обнимает ее, старается приподнять ее голову, повернуть к себе ее лицо, он тихо, тихо и нежно ей шепчет:

— Что ты?... Не плачь... голубушка... Маша... люблю я тебя...

Она хочет освободиться от его объятий, она его отталкивает.

— Оставь меня... злой... оставь... противный... уйди...пусти меня... дай мне уйти... утопиться!.. — сквозь рыдания, с ненавистью и ужасом в голосе твердит она. — Уйди... враг мой лютый... душегубец!..

Но он теперь плохо понимает слова ее, он их не слушает.

— Не плачь... я люблю тебя! — повторяет он. — Люблю тебя... Маша!..

Он так странно, так смешно и мило выговаривает «люблю» и «Маша».



Она подняла голову, взглянула, охватила его шею руками, изо всех сил прильнула к нему — и замерла. Рыдания ее понемногу стихали, ее трепетные руки все крепче его сжимали, и она, забыв все, знала одно, что никому не отдаст его, что он — ее жизнь и что никуда она не уйдет от него, не уйдет даже топиться в Москву-реку.

Любовный чад не помешал королевичу подумать о положении, и, в то время как Маша еще спала, он уже имел с Генрихом Краненом и другими своими молодыми придворными весьма серьезное совещание. Он объяснил им всю безвыходность положения юной московской боярышни, свою горячую любовь к ней, озарившую теперь для него мрак и томление этого бесконечного, невыносимого плена, и свое твердое намерение спрятать и сохранить нежданную гостью.

Молодые люди не смели завидовать своему любимому всеми принцу и поклялись ему сделать все, чтобы спасти прекрасную москвитку. Дело было трудное, но не заключавшее в себе окончательной невозможности. Ни один из датчан, а их было в штате королевича триста человек, не мог выдать Вольдемара и ему изменить. Правда, «во дворе» всегда находилось несколько человек русских, но эти люди не раз уже менялись, очевидно, с той целью, чтобы датчане не успели их подкупать. Можно было смело рассчитывать, что русские не обратят внимания, если в числе пажей королевича окажется новый мальчик, которого до сей поры никто еще не видал. А дальше что делать — видно будет...

До вечера Маша не выходила из светлицы, а к вечеру уже все датчане знали о ее существовании и относились к ней с большим интересом. Состояние духа королевича начинало во всех внушать сильные опасения, Вольдемар иной раз, выходя из апатии, в которую вообще был погружен, проявлял признаки такого отчаяния и бешенства, еще более ужасного при полном бессилии, что нельзя было не бояться за его рассудок. Это же неожиданное любовное приключение, как легко было понять, являлось для горячего молодого человека спасительным.

Один только посол Пассбург, узнав о «московской боярышне», пришел в негодование. Человек старый, с давно остывшей кровью, а потому и строгих нравов, он вовсе не был склонен снисходительно смотреть на молодые увлечения и почитал их недостойной человека блажью.

Мрачный и недовольный говорил он своему товарищу Биллену:

— Только этого и недоставало! И так уже положение крайнее, и неизвестно, выйдем ли мы из него... Московиты нас ненавидят и ждут только предлога, чтобы всех нас перерезать!.. А тут мы сами даем им в руки этот предлог... да еще какой!

На это Биллей, малоречивый и скромный, но далеко не лишенный здравого смысла, стал ему доказывать, что о высшей нравственности теперь нечего думать, а надо думать лишь о том, чтобы принц Вольдемар не сошел с ума и не наложил на себя рук.

— Все это так! — воскликнул Пассбирг. — Только какую-то песню вы запоете, когда у нас найдут эту слишком уж смелую московитку, и прежде всего нас с вами потянут к ответу! Вы, кажется, забыли, что мы среди варваров, которым весьма желательно познакомить нас с пыткой и кнутом.

— Я уже полтора года чувствую себя сидящим на раскаленных угляях, — отвечал Биллей, — и, признаться, начинаю привыкать к этому. Опасность нашего положения так велика и так давно существует, что, право, лучше всего о ней и не думать. Никакой московитки у нас не окажется, а хорошенького мальчика-пажа наши молодцы авось охранят и не выдадут...

Пассбирг махнул рукой.

— Э, да что тут толковать! — ворчливо проговорил он. — Конечно, нам остается закрыть глаза на такое предосудительное поведение принца. Я только бы просил его уволить меня, во внимание к моим седым волосам и долгой верной службе его величеству королю, от компании нового паж: я до подобных маскарадов не охотник...

Старый Пассбирг мог негодовать и не интересоваться пажем, но когда Маша, смущенная до последней степени, с опущенными глазами и рдевшим горячей краской лицом, появилась в саду, где были собраны почти все датчане, — ее встретил шепот восхищения.

Конечно, никто, и в том числе сама царица Ирина, никто не узнал бы ее в этом прелестном, стройном мальчике. Тяжело было ей расстаться со своей красою девичьей — густою косою, но она, ввиду очевидной необходимости, решилась на это. Стыдно ей было чувствовать себя в срамной и куцей немецкой одежде, но она победила свой стыд и смущение.

«Снявши голову, по волосам не плачут!» — сказала она себе.

Хуже всего было ей, теремной жительнице, почти никогда не видавшей мужчин, оказаться в этой толпе немцев; но она взглянула на Вольдемара, бывшего рядом с нею, встретила его влюбленный взгляд и забыла все.

А затем ее верные бесенята явились ей на помощь; к ней вдруг вернулись вся ее потерянная было веселость, легкомыслие и жадное стремление жить настоящим, не думая и не заботясь о будущем.

Через несколько минут ей вдруг стало смешно глядеть на все эти незнакомые лица. В каждом немце она подметила сразу что-нибудь забавное; пуще же всего ей казалась смешной их речь, представлявшаяся ее непривыкшему слуху каким-то странным птичьим гоготаньем.

«А ведь надо и мне поскорее научиться так гоготать... Не то что же? Они на меня глаза таращат, я на них — и ни с места!..» — подумала она.

## XVIII

Старый посол Пассбирг, конечно, со своей точки зрения, имел все основания обвинять королевича Вольдемара в предосудительном поведении и презирать превратившуюся в пажа московитку. Но если бы Вольдемару пришлось защищать себя перед строгим судом, он, наверное, нашел бы себе в оправдание немало весьма серьезных, во всяком случае, «смягчающих» обстоятельств.

Что же касается Маши — между нею, какую создали ее природа и обстоятельства, и презрением к ней старого посла Пассбирга не было ровно ничего общего. Бесенята или, что в настоящем случае равнозначнее, жизнь сыграла с нею самую неожиданную и, если можно так выразиться, очень серьезную шутку. Последствия этой серьезной шутки сказались сразу: в один день легкомысленный, шаловливый бесенок превратился в любящую и уже только по одной внешности легкомысленную женщину. Ее природа оказалась гораздо глубже и богаче, чем можно было ожидать.

Прошло три-четыре дня. Врожденная нежная грация и прелестная женственность Маши, которым ничуть не мешал костюм пажа, приворожили к ней не только королевича, но и всех его придворных. Все датчане поголовно оказались без ума от московитки, и не только ради королевича никогда бы ее не выдали, но уж и ради нее самой готовы были защищать ее до последней капли крови.

Ее присутствие явилось как бы лучом света среди безнадежного мрака, в котором чувствовали себя так долго эти пленники.

Их скучная, однообразная жизнь получила интерес. До сих пор, вот уже сколько месяцев, они могли толковать между собою только об одном — о своем безвыходном положении, и разговоры эти, естественно, раздражали их, приводили в унылое, мрачное настроение духа. Вольдемар, уезжая в Московию, набрал свой штат по большей части из людей молодых, энергичных, веселых; к тому же все эти люди находились между собой в самых приятельских, искренних отношениях.

Долгая московская неволя, замкнутая, лишённая удовольствий и каких-либо живых интересов жизнь, испортив характеры пленников,

сделав их раздражительными, чувствительными ко всякой мелочи, способствовали тому, что они все чаще и чаще стали между собой ссориться и браниться.

Самые лучшие друзья теперь враждовали. В саду было уже несколько крупных стычек, и не раз приходилось более разумным силою прекращать поединки.

Только благодаря тому, что королевич, обыкновенно ласковый и простой в обращении со своими приближенными, все же умел, когда нужно, быть строгим и твердым, — дисциплина между датчанами до сих пор почти не нарушалась. Слово Вольдемара, его гневный взгляд, решительный приказ продолжали действовать по-прежнему. Будь у него иной характер, эти триста человек, от бездействия и с отчаяния, давно бы уж дошли до крови.

Но ведь и сам королевич в последнее время находился в полной апатии, которая увеличивалась с каждым днем. Он уже выказывал равнодушие ко всему и просил только одного, чтобы его оставили в покое. Его по целым дням не было видно, он никого не впускал к себе, и ссоры между датчанами принимали все более и более смущающие размеры.

Все это могло прекратиться только с получением свободы, с известием о возможности скорого возвращения на родину. Иного лекарства от такой болезни, казалось, не было. Между тем оно нашлось. Очень действенным лекарством оказалась Маша.

Заинтересовав собою решительно всех, она отвлекла мысли датчан от их тяжкого положения, сделалась почти единственным предметом разговоров.

Не будь королевича, соперничать с которым никому не могло прийти в голову, хорошенькая московитка, вероятно, послужила бы причиной еще больших ссор и вражды; но теперь она всех соединила, сделалась для всех этих «добрых молодцев» «любимой названной сестрицей-красавицей», о которой говорится в старой сказке.

Добрые датские молодцы желали только одного: дружно служить красной девице, баловать ее всеми мерами и охранять от всякого ворага.

Маша сразу не поняла еще, но почувствовала это всеобщее к себе отношение «немцев», и оно помогло ей легче перенести очень тяжелые

минуты по временам все же наплывавшей тоски и невольного душевного смущения.

«Вот, говорили, — думалось ей в такие минуты, — говорили, немцы — нехристи, все одно что жидовины, хуже всяких воров-разбойников!.. Ан нет, напраслину на них возвели... даром что ходят куцые, перья на голове носят, да и гогочут по-птичьему, а душа-то у них человечья, добрая душа, ласковая...»

Вспомнились ей другие люди, которых она знала с детства: все эти важные теремные боярыни, мамушки, нянюшки, постельницы, многочисленные прислужницы, среди которых она жила. Приходили ей на ум разные деяния женщин, подсмотренные и подмеченные ею, — и она думала о многих!

«Вот ведь и Господу Богу веруют, и в церковь ходят, молятся, что ни слово, то Христа и Владычицу небесную поминают, а злобы-то, злобы сколько у них в сердце! Чем же они лучше басурман этих? Не лучше они их, а во сто крат хуже!..»

А Пелагея? А дьяк Тороканов? При мысли о них злоба подступала к сердцу Маши, и почитала она их не людьми, а зверями лютыми.

Но не могла же она не вспоминать и о других! Вот мелькает перед нею багровое от быстро воспламенявшегося и еще быстрее стихавшего гнева лицо Настасьи Максимовны, и уже не помнит она, сколько бед пришлось ей испытать от быстрой на решения и слова бранные постельницы, как часто болело и горело ее ухо от бесцеремонных к нему прикосновений этой блюстительницы теремных нравов.

Помнит она только те минуты, когда, набурлив, накричавшись и набравившись вволю, Настасья Максимовна вдруг сразу стихала, добрела... Зазовет она, бывало, Машу к себе, самые что ни на есть вкусные лакомства выложит, угощает, а сама все ворчит, все ворчит:

— Ишь, космы-то, космы растрепала! — говорит. — Стыдись, мать моя, пригладься... У! Бесстыжие твои глаза... разгильдяйка!..

А сама возьмет гребешок частый, причесывает Машу, волосок к волоску подбирает, рукой своей пухлой, мягкой приглаживает, и глаза у нее такие вдруг добрые станут, улыбается она, будто рублем дарит.

Так вот и захочется Маше кинуться ей на шею, прижаться к ней, обнять ее крепко, громко и звонко целовать ее в круглые, красные,

горячие щеки... Да куда тебе! Попробуй только — того и жди, она нос откусит!..

Такою вот вспоминалась теперь злая постельница Настасья Максимовна, и больно-больно сжималось Машино сердце, а слезы так, одна за другою, из глаз тихонько и скатывались.

Потом, на смену Настасье Максимовне, являлся перед Машей другой образ, образ княгини Марьи Ивановны Хованской. Ведь это она приютила сиротку, лишившуюся отца с матерью, не имевшую никого из близких кровных родных, оставшуюся без всяких средств к существованию.

Княгиня взяла Машу к себе в дом. Но так как она дома почти не бывала и жила в тереме при царевне Ирине, то скоро рассудила, что уж коли делать добро, так делать его не наполовину. Она расхвалила сиротку царице, добилась ее определения в терем и — теперь Маша это хорошо понимала — очень способствовала первому сближению ее с царевной.

Сколько людей с большими достоинствами обращалось к княгине с просьбою пристроить так их дочек при царевне. Сколько подарков и всякого добра сулило княгине исполнение таких просьб!

Но она гнушалась подарками, не потому, что такое чувство было внушено ей воспитанием или развито примерами окружавших ее людей, а потому, что оно родилось вместе с нею. Все вокруг нее, за малыми исключениями, именно пуще всего любили всякие подарки и ради них готовы были сколько угодно кривить душою.

А вот княгиня пренебрегла всем, даже недовольством сильных людей, и пристроила бедную сироту, за которую некому, было просить, ради которой никто не сулил никаких благодарностей. Не для людей, а для Бога сделала это княгиня и никогда не оставляла девочку своими милостями.

А Маша-то, Маша! Ведь в последнее время она мысленно никогда иначе и не называла княгиню, как «кикиморой»! Сколько раз подшучивала она над нею и ловко, осторожно водила ее за нос.

Стыдно теперь вспомнить Маше о многих своих проделках. Кинуться бы теперь на колени перед благодетельницей, от души поплакать, целуя ее руки. И никогда, никогда больше не увидит Маша княгиню... Царевна!.. Гонит от себя хорошенький паж королевича

Вольдемара этот милый и в то же время теперь такой жестокий, такой мучительный образ и никак прогнать его не может...

Царевна, полная своей юной красоты и печали, как живая перед нею. Глядит она ей в глаза невинными, голубыми, заплаканными глазами. Шепчут ей столько раз целовавшие ее губки:

«Зачем ты обманула меня, Машуня! Я ли тебя не любила, я ли тебя не защищала... а ты вот что со мною сделала!.. Сама разожгла мое сердце... сама мне привела его... отравила меня его поцелуями — и насмеялась надо мною, отняла у меня жизнь и счастье!..»

Что ответить Маше на эти беззвучные, но слышные ее сердцу речи? Как вынести взгляд этих заплаканных глаз?... Щемит сердце, будто клещами железными давит голову...

Но что это? Блеснули гневом глаза царевны, злая, презрительная усмешка искривила ее губы. Уже не жалобно шепчет, а кричит она: «Подлая, низкая девчонка! Ведь без меня ты бы давно пропала, искалечили бы тебя, уморили смертью лютою, медленною на пытке!.. Туда бы тебе и дорога! Нету в тебе ни стыда, ни совести, тварь ты гадкая, злая, неблагодарная!.. Воровка ты, предательница!..» Слушает, жадно слушает Маша эти бранные речи, и вот поднимаются ее глаза и прямо, смело смотрят теперь в гневные глаза царевны...

«Неправда, неправда! — звучит из глубины ее души громкий голос. — Не воровка я, не обманщица, не предательница!.. Не тебя, царевна, не тебя, а себя я только обманывала!.. Об одной тебе думала, для тебя с огнем играла, а как и когда опалила навеки свое сердце, не ведаю!..

Отравили, вишь, тебя, царевна, его поцелуй!.. Ну а я — нешто истукан, нешто из камня я сделана?... Целовал он тебя под моей охраною в теремном переходе!.. Так ведь и меня целовал он допрежь тебя, в тот же вечер зачарованный, под звездным пологом летнего неба, в тихо шептавшей душистой древесной чаще... Я смеялась...

Я смеялась, царевна, и тебя ему поминала... и к тебе привела его... и сторожила вас, слушая ваши поцелуи, ваши нежные вздохи... а была ли ты в моем сердце, царевна? Али думаешь, что у тебя у одной сердце?!

Я здесь, царевна! Не боясь лютых мучений, не боясь смерти, я сюда прибежала... истерзанная, голодная, вся в крови, как загнанный зверь, я к нему кинулась, прося его защиты... себя я не помнила от



муки и радости и все же ему о тебе говорила... Не только сюда, но и на край света для тебя бы я побежала!.. Ну так вот, не для меня, а для себя прибеги-ка сюда, царевна! Возьми его у меня, коли можешь, ни слова не скажу я, не стану за него вступаться...»

Кипит сердце Маши, и ничего уж она понять не в силах... Изверг она, змея подколодная, бесстыдная и бессовестная девчонка! Пусть так... видно, оно так и есть взаправду... Только бы он пришел поскорее, только бы покрепче прижал к своему сердцу, только бы шепнул, так странно, так смешно и сладко: «Люблю я тебя, Маша!»

Он входит — и все забыто, исчезла царевна, будто никогда ее и не бывало... Как хорошо и отрадно быть змеею, какое блаженство змеиному сердцу слушать милый голос, повторяющий: «Люблю я тебя, Маша!»

— Надолго ли?... Скоро разлюбишь!.. Когда?

— Никогда! Ведь не вечно будем мы сидеть в этой клетке... Увезу я тебя в мою родную датскую землю...

Он старается объяснить ей, как хорошо там, у него на родине. Там люди добрее, справедливее, там жизнь иная, счастливая.

Но Маша не слушает его и не понимает. Она не хочет, не может думать о том, что будет. Пусть там, за чудной этой минутой, — мрак, мучение, смерть...

Теперь — свет, блаженство, жизнь — вечность это или мгновение?...

Рано утром раздался стук в дверь опочивальни княгини Марьи Ивановны Хованской. Но княгиня уже давно не спала. В ее годы и вообще-то некрепко и недолго спится, а тут еще все это последнее время всякие печальные мысли одолевать стали.

Вокруг, в тереме, да и во всем царском дворце, творилось неладное. Наблюдения княгини и опытность ее твердили ей, что настали черные дни и вряд ли пройдут скоро.

Царю все хуже да хуже, на царице лица нет. Иринушка такова стала, что краше в гроб кладут.

Часто, часто задумывается теперь княгиня, качает головою и глубоко вздыхает.

«Помирать, видно, надо, — шепчет она, — да и то сказать: всему свой час, всему свое время. Пожили — видно, с нас и довольно».

Несмотря, однако, на эти рассуждения, все же нет спокойствия, нет на душе примирения с неизбежностью.

Пожили! То-то вот и есть, что пожили слишком мало! Куда это вся жизнь ушла, куда ушла молодость? Как в годы юные казалось, что настоящей жизни, настоящих радостей еще не было, что они впереди, придут, будут, так вот и теперь, до самого этого последнего печальною времени, все казалось, все ждалось что-то светлое, счастливое в будущем. А текущий день, настоящая минута представлялись только кануном какого-то всю жизньжданного праздника...

Видно, праздник-то истинный, жизнь настоящая, светлая не здесь, а там!..

Стала задумываться княгиня, и только вот эти новые мысли помогали ей временами успокаиваться, сдерживать в себе подступавшую к сердцу тоску. И опять, вот и теперь, рано встав и помолясь горячо Богу, она настроила себя на примиряющие со всеми невзгодами мысли.

Услыша стук в дверь, она вспомнила, что дверь на задвижке. Подошла, отперла ее и увидела перед собою Настасью Максимовну.

У постельницы было такое перепуганное, багровое лицо, что княгиня, забыв все свои благоразумные мысли, перепугалась и

схватила за сердце, так оно вдруг шибко у нее застучало.

— Матушка, что такое... что случилось? — воскликнула она, даже зажмуриваясь, как перед неминуемым, готовым сейчас обрушиться на голову ударом.

— Не пугайся, княгинюшка, Бог с тобой, успокойся... — едва переводя дух, заговорила Настасья Максимовна, заметив впечатление, произведенное ею на княгиню. — Беда случилась!.. Машутка у нас пропала!..

— Ах, чтоб тебя! — невольно вырвалось у княгини, и от сердца отступило.

Не того совсем она ждала, не того боялась. Однако не без интереса и не без некоторого все же волнения спросила она:

— Как пропала, куда же она могла деваться?

— А вот и пропала, совсем сбежала Машутка; не знаю, что теперь и делать. Через забор перелезала, еще вечер это было, до ночи. Да ты уже заперлась, тревожить тебя не хотела, думала, авось негодница сама одумается, вернется, ан нет!

Говоря это, Настасья Максимовна багровела все больше, раздувала ноздри и глаза выкатывала.

Она, очевидно, была взволнована до последней степени; в ней боролись и страх за озорную девчонку, и бешенство на нее, и жалость — одним словом, самые разнородные чувства.

— Да говори ты, матушка, толком, не разобрать мне тебя, как это так через забор убежала да не вернулась? Кто видел? — спрашивала княгиня.

— Пелагея видела, она ее выследила до самого забора, а как та лезть на него стала, она и стащила ее.

— Ну?!

— Стащила, а Машутка как ударит ее изо всей силы в грудь, Пелагея-то и свалилась. Девчонка на забор — да и тягу... Едва отдышалась Пелагея...

— Ну, уж они тоже и наскожут! — с недоверием перебила княгиня. — Машутка-то не боец-мужик, уж будто может так ударить, чтобы человека с ног свалить! Пелагея-то баба злая, знаю я ее, ее давно из терема выгнать надо. Я уж об этом и подумывала. А на Машутку, знамо дело, она всякую напраслину возвести готова. Темно тут что-то, Настасья Максимовна...

— А я нешто лыком шита? — с сердцем воскликнула постельница. — Нешто я все это в толк взять не могу, что плетет Пелагея? Да вот, вишь ты, весь терем перерыла — нет Машутки, нет и доселе! Как она ее ударила, следа-то не видно, а Машутки все ж таки нету!

— Подождем до полудня, может, и окажется.

— Пождать — пождем, другого что же теперь делать! — привычно развела Настасья Максимовна руками. — Я только доложить тебе; царевна неравно будет ее спрашивать.

— Так, так! — говорила княгиня. — Ох уж эта мне Машутка!.. Своего горя поверх головы, а тут еще с нею...

Прибралась княгиня, пошла к царевне, да как взглянула на нее — руки опустились. Совсем не в себе Иринушка: глаза горят, то засмеется вдруг невпопад, то заплачет.

Ласкает ее Марья Ивановна, уговаривает, расспрашивает, не болит ли где, не желает ли чего царевна. Но Иринушка отвечает:

— Ничего не болит у меня, мамушка, ничего мне не хочется, скучно только. Отчего скучно — сама не знаю. Места себе не нахожу...

— Так в садик бы вышла, прошлась, теплынь нынче, благодать.

— Ох, и гулять не хочется. А вот что, мамушка, прикажи ко мне позвать Машуню.

— Ладно!

Уходит княгиня от царевны да и не возвращается.

Посылает Ирина за Машей то того, то другого. Возвращаются посланные ею с одним и тем же ответом: нигде нет Маши, никак отыскать ее не могут.

Ждет царевна и волнуется все больше и больше.

Наконец сама она вышла, обошла весь терем, в сад спустилась — нет нигде Маши. Спрашивает она о ней, никто ничего сказать не может. И в то же время замечает она, что все как-то странно на нее смотрят.

Кинулась Ирина к княгине Марье Ивановне, дрожит вся, рыдает.

— Где Маша? — спрашивает она.

Княгиня видит, что нельзя больше скрывать.

— Нет ее, убежала она, твоя любимица!

Царевна так зарыдала, будто сердце разрывалось на части.

— Неправда это, скрываете вы от меня... своего добились, схватили, видно, ее, повели на пытку!.. Это зверь этот... дьяк... Тороканов!.. Да как же он смеет, ведь мне обещали, что ее не тронут... Как же мне-то не сказались?!

Она, как безумная, побежала отыскивать царицу. Нашла ее и вся в слезах, в исступлении молила и в то же время требовала, чтобы отдали, возвратили ей любимицу.

Но царица ничего не знала и не понимала, в чем дело. Призвали княгиню, призвали Настасью Максимовну и, наконец, привели к царице Пелагею.

Ирина из всех этих докладов и рассказов должна была убедиться, что ее предположение неверно. Тут не Тороканов, не на пытку повели Машу.

Так что же? Один ужас заменился другим. Значит, она не послушалась, значит, она так и сделала, как предполагала. Убежала она к нему... Отчего же не возвращается?!

— Послать людей искать эту девчонку по городу! — распорядилась царица.

— Чтобы нынче же ее нашли, не булавка ведь... Да и куда же это она могла убежать? — обратилась царица к дочери. — Ты вот ее заступница. Ты меня уверяла, что девчонка эта ни в чем не повинна, ну так и объясни нам, знать ты должна — где она?

Ирина опустила голову и молчала. Что могла она ответить?

— Вот и выходит, — продолжала царица уже совсем раздраженным голосом, — что мы с Марьей Ивановной, потакая тебе, в дурах остались. Не надо было тебя слушаться. Ишь, невидаль какая, сокровище, золото! Все, вишь, на нее напраслину возводят, все, вишь, виноваты, она одна права!.. Слушай ты, Марья Ивановна, — повернулась царица к княгине Хованской. — Как отыщут эту негодницу, так ты ее запри. Мне доложи, а я дьяка пошлю поспросить ее. Нет уж, Иринушка, плачь ты не плачь, хоть рекой разлейся, а об Машутке чтобы и слуху не было! Вон ее из терема, не то она всех тут перепортит...

Совсем разгневалась царица. Ирина убежала к себе, кинулась на кровать, никого к себе не подпускала и горько-горько плакала.

Вечер пришел и принес только одно известие, что, несмотря на поиски во все стороны разосланных надежных людей, Машутки не

отыскали. Как в воду канула. И на следующий день, и еще через день — нет Машутки.

Царевна все перебрала в уме своем. Представлялись ей всякие ужасы: растерзали Машу злые собаки по дороге, захватили ее воры-разбойники, душегубцы, утопилась она от страха погони.

Долго не могла остановиться царевна на мысли о том, что Маша жива, что она там, во дворе королевича, что она с ним, но пришлось, перебрав все, дойти и до этой мысли. Если она жива и только не могла до сих пор вернуться — это еще самое для нее лучшее. Только ведь не вытерпит она, никакие стражники ее не остановят, раньше или позже, а явится она в терем себе на погибель. И нет никакой возможности дать ей знать, чтобы не возвращалась.

Томится бедная царевна без известий о Маше и королевиче, и пуще того еще страшится она, чтобы Маша не вернулась.

Ото всех сторонится царевна, ни с кем не ведет беседы: «да», «нет» — только от нее и слышат.

Вечер придет, запрется она у себя в опочивальне, упадет на колени перед киотом с образами и жарко, горячо молится. Так чиста, горяча ее молитва, так непорочно ее юное измученное сердце, что не смеют Машины бесенята шепнуть ей: «А Машуня-то твоя у королевича, обнимает она его, целует... Обманула тебя твоя Машуня, насмеялась над тобою».

Прячутся бесенята в темный угол, забираются на теплую изразцовую лежанку, изукрашенную хитрым рисунком, невиданными цветами и травами, и оттуда с изумлением и грустью глядят на молящуюся царевну.

Была середина лета, последние числа июня. Погода стояла знойная: засуха, ни малейшего дуновения ветра, солнце медленно плывет по безоблачному небу и жжет, палит своими лучами.

По Москве бешеные собаки бегать стали и кусаться. На людей, местами, мор пошел: схватит человека, кричит он, корчится, холодеет, а через несколько часов, глядишь, и Богу душу отдал. Решили, что болеть ту завезли купцы из Персии, а другие уверяли, что все это просто с духоты, от зноя — спадет зной, пойдет дождик и всю болеть лихую как рукой снимет. Пока же не принимали никаких мер против заразы, да и не знали, какие тут меры помочь могут.

Вообще над Москвою и помимо удушающего зноя и заразы чувствовалось что-то тяжелое, тревожное. Ходили недобрые слухи о болезни царской, о самозванцах. Ближние бояре, знавшие доподлинно, в чем дело, с каждым днем смущались все более и более.

Они хорошо понимали, что царская болезнь не к доброму концу. Еще весною, в апреле, призывали иноземных дохтуров — Венделина Сибелисту, Иоганна Белоу да Артмана Грамана и допрашивали их: какая болеть у царского величества, от каких причин та болеть случается и что от того бывает?

Ученые иноземцы, осмотрев государя, объявили, что желудок, печень, селезенка, по причине накопившихся в них слизей, лишены природной теплоты, и оттого понемногу кровь водянеет и холод бывает; оттого же цинга и другие мокроты бывают.

Назначили леченье: давали государю составное рейнское вино, приправляя его разными травами и кореньями, запретили ужинать, пить холодные и кислые питья.

Лекарство это не оказало никакого действия. Тогда, 14 мая, прописали другой очистительный состав, но и он не принес облегчения. В конце мая врачи говорили ближним боярам, что желудок, печень, селезенка бессильны «от многого сиденья, от холодных напитков и от меланхолии, сиречь кручины».

Венделин Сибелиста, будто оправдываясь, доказывал, что он давно уже просил великого государя изменить образ жизни, ходить

пешком как можно больше и, главное, не кручиниться, быть веселым.

— А что ж ты, дохтур, зелья-то целебного государю не дал от кручины? — спрашивали бояре. — Тоже толкуют: не кручинься, будь весел! Ну, так и дай от кручины зелье!

— Нету такого зелья в натуре! — объявил Сибелиста. — Коли вам старые бабы говорят, что они то зелье знают, не верьте им: врут ваши старые бабы!

— То-то оно и есть! А ты вот выдумай снадобье целебное от кручины, от беды всякой да тогда и говори... А то что ж ты за дохтур немецкий, ученый, коли великого государя, за его же тебе царское жалованье, вылечить не можешь!

Сибелиста обиделся, отошел от бояр и, потолковав с товарищами, прописал царю составной сахар и велел мазать желудок бальзамом.

Начались у Михаила Федоровича головные боли, да такие, что по дням не мог головы поднять с подушки. Составили 5 июня порошок. От того ли порошку или так, само собою, голове полегчало. Царь стал вставать с кровати, проходил в «комнату», беседовал с боярами; но лик его был темен, глаза потухли, он с трудом двигал опухшими ногами, дышал тяжело и, поговорив немного, чувствовал большую усталость.

Дохтуры строго-настрого запретили докладывать ему о чем-либо неприятном, наказывали ничем не раздражать его, да и сами бояре видели, что волновать его невозможно, что от каждой малости ему становится хуже.

А тут, как нарочно, дела все такие неприятные, и не знают бояре, как вывернуться, как быть без царского наказа.

Начать хоть бы с королевича! Ведь это он, басурман упрямый, жестоковыйный, и есть главная причина болести государя, его злой кручины. Не сдастся, хоть ты тут что! Да еще и на хитрости всякие поднимается...

Вот пришел к боярам Петр Марселис и докладывает:

— Вчерашнего 24 числа июля заболел королевич Вольдемар Христианусович болезнью сердечною, сердце у него щемит и болит, что скушает пищи или чего изопьет, то сейчас назад...

— С чего ж бы это? — спрашивают бояре.

— Ясное дело, с кручины! — отвечает Марселис. — Если скорой помощи не подать королевичу, то может быть с ним удар или огневая болеть и может он помереть...



Марселису ничего на это не сказали бояре, отпустили его и тотчас же послали за верным человеком, Миной Алексеевым, который в последнее время был приставлен для наблюдения за тем, что делается на королевича дворе. Мина Алексеев, являсь перед боярами и узнав, в чем дело, сказал:

— Петр Марселис либо сам обманывает, либо его обманули. Вчерашнего 25 числа королевич кушал в саду; маршалок, чашник, дворяне и ближние люди при нем были все веселы, ели и пили по-прежнему. После ужина королевич гулял в саду долго со своим любимым рындой, ловким таким и пригожим из себя парнишкой, а маршалок звал к себе в хоромы чашника, дворян и ближних людей всех, потчевал их, пили вино и романею, и рейнское, и иное питье до второго часу ночи. Все были пьяны, играли в цимбалы. Дохтура я сегодня на дворе у королевича не видал...

— Ну и пускай себе пьянствуют и играют в цимбалы! — решили бояре и отпустили Мину Алексеева, наказав ему следить хорошенько и обо всем своевременно докладывать.

Было другое дело, путаное-перепутаное, с которым надо было непременно скорее кончить, а как кончить, того бояре не знали. Дело это касалось ждавшего своей участи самозванца Лубы и привезшего его польского великого посла Стемпковского, который все громче и громче начинал жаловаться на свое положение и требовать царских решений. Жаловался он тоже на пристава.

Разобрали бояре дело. Оказалось, что пристав упрекал Стемпковского за то, что приехавшие с ним литовские купцы ходят пьяные поздно ввечеру и ночью по улицам, продают вино и табак, царского величества людей бесчестят, бранят, саблями секут, шпагами колют.

Стемпковский не верил таким действиям литовских купцов и в то же время просил, чтобы им было позволено торговать вином и табаком, так как в договоре написано что им вольно торговать всякими товарами.

Пристав ответил:

— Стыдно такие товары товарами называть и в перемирных записях писать: литовские купцы сами знают, что по царскому указу за такие товары всяким людям чинят жестокое наказание: носы режут, кнутом бьют без пощады и в тюрьму сажают.

Далее посол жаловался боярам:

— Хорошо было у нас царского величества послам, князю Львову с товарищами: сенаторы их почитали, к себе на пиры звали и дарили. Жили они в Польше, как у родных братьев, на поле тешиться ездили и дома у себя тешились; а мне здесь, великому послу, только позор и бесчестье, живу взаперти, никуда выехать не пускают, людей моих не пускают на двор к королевичу датскому...

— Это никак невозможно без царского наказания! — отвечали ему бояре. — Его величество болен, за болезнью мало из своих царских покоев выходит, а как его величеству Бог даст облегчение, то думный дьяк станет докладывать ему о всяких делах...

Но царскому величеству облегчения не было. Хотя и прошли головные боли, да слабость и отеки все увеличивались.

Наступило двенадцатое июля, день именин государя. После почти совсем бессонной ночи Михаил Федорович все же пересилил свою слабость, поднялся чуть свет, облачился в праздничную одежду и вышел к собравшимся боярам, чтобы идти с ними к заутрени.

Бояре со страхом и в великом волнении ожидали его выхода. Почти все были уверены, что он не в силах будет идти в церковь.

Но вот царь появился, и при взгляде на него все оживились. Велика сила духа! Благодетельный царь в сознании святости этого дня и необходимости присутствовать на богослужении нашел крепкое оружие против тяжелого недуга, окончательно разрушавшего его тело.

На душе у него было светло и ясно. Все мрачное, безнадежное, смущавшее и отравлявшее покой этого времени — отошло, забылось. Ведь вот давно, давно уж, поглощенный заботами, тоской и страданием, царь совсем не замечал, не ощущал того, что в прежние счастливые годы составляло для него радость жизни. Для него уж не существовала природа, не светило солнце, не красовалась земля в своем летнем наряде.

А теперь глядит он и видит: утреннее солнце пронизало расписные, разноцветные стекла узких, длинных окон палаты и играет на знакомых, когда-то так нравившихся предметах.

И теперь все это опять нравится, а главное — солнце! Хочется скорее на воздух — там небо синее, там шелестят листвою деревья, жужжат пчелы...

Детски счастливая улыбка озарила бледное лицо царя. Он оглядел собравшихся бояр, низко ему кланявшихся и поздравлявших его с радостным днем, со днем его ангела. Поклонился и он на все стороны, благодарил верных слуг своих и советников, со многими облобызался.

Все эти давно знакомые лица, вчера еще надоедливые и совсем ненужные, казались ему теперь близкими, милыми, дорогими, будто он свиделся с ними после долгой разлуки.

Никто не смел его спрашивать о здоровье, так как вопросы эти его раздражали, но он сам объявил громко:

— Смилоствился Господь надо мной, послал для моего праздника успокоение моему недугу. Давно я так хорошо себя не чувствовал... Пойти скорее в церковь, после молитвы-то еще, Бог даст, поздоровею...

Однако, пройдя несколько шагов, он почувствовал в ногах такую слабость, что оперся на руку оказавшегося рядом с ним Шереметева и так, медленно передвигая ноги, дошел до церкви. Взойдя на свое царское место, он тотчас же опустился на колени, и все заметили, что он на коленях не стоит, а сидит. Так оно и было, и вдобавок, начав горячо молиться, царь сам не замечал положения своего тела.

Молитва окончательно оторвала его от действительности, перенесла в иной мир, разорвала связь между ним, воспарившим духом, и слабым, истощенным долгой болезнью телом, которое лежало теперь согнувшись, подавляемое собственной тяжестью.

Царь уже не различал звуков церковного пения и слов читаемой молитвы. Он слышал совсем иные звуки, полные дивной, никогда еще не слыханной им гармонии. Будто где-то высоко, над сводами церкви, шла тоже церковная служба, только совсем иная, полная великой, божественной тайны...

И хотелось царю проникнуть в эту тайну, вслушаться в непонятные слова согласного хора. Еще одно усилие парящего духа — и он поднимется выше, все расслышит, все поймет...

Но вдруг внизу, глубоко внизу будто упало что-то, раздался будто звук порвавшейся струны — и царь почувствовал, что он стремительно летит вниз.

Страшная боль загрызла его сердце, все его внутренности. Он крикнул не своим голосом, пошатнулся на правую сторону и упал,

ударясь головою о резную решетку. Со всех сторон к нему подбежали бояре. Пение внезапно замолкло. На всех лицах был ужас...

Михаила Федоровича, находившегося без чувств, пронесли в царские палаты, прямо в опочивальню. Царица, сама совсем больная, едва волочившая ноги, громко плакала и причитала, обливая слезами бледное, неподвижное лицо мужа. Собравшиеся врачи едва уговорили ее дать им раздеть царя.

— Одно скажите мне, Христа ради, — вопила царица, — жив ли он, жив или уже нет его, желанного?

Венделин Сибелиста стал уверять, что царь еще жив, что вот он скоро придет в себя, чтобы царица не плакала и удалилась, ибо ее слезы и крики только могут повредить больному. Но Евдокия Лукьяновна не двигалась с места, пока наконец царь не открыл глаза и не пошевелился. Тогда она сама, почти уж потеряв сознание, допустила увести себя в терем.

Между тем Михаил Федорович от разных обкуриваний и примочек вышел из своего оцепенения, получил способность говорить. На вопросы дохтуров, что он чувствует, он ответил:

— Ничего не чувствую, нигде не болит, только дышать трудно. Окна отворите, двери... дайте воздуху.

Его приказание было тотчас же выполнено.

— Оставьте меня все, оставьте одного, — прошептал царь и махнул рукою.

Все вышли. Дохтуры и самые приближенные остались в соседнем покое, разместились кто где и прислушивались, затаив дыхание, не произнося ни слова, только переглядываясь.

Царь скоро, очевидно, заснул. Сибелиста решился осторожно прокрасться в опочивальню, подобрался к кровати, прислушался и затем, возвратясь, объявил:

— Дышит изрядно, авось отойдет. Сил у него мало; не надо было идти в церковь.

Бояре шепотом заговорили:

— Как тут не идти в такой день!

— И ведь как бодр да радостен казался, от сердца отлегло...

— А тут вот какое горе!

Стали приставать к дохтурам, выпытывать: опасен или нет, встанет ли? — дохтуры качали головами:

— Как знать! Всяко бывает, может, еще и поправится ненадолго, а все же опасен, ничего хорошего не видно.

Вместо веселья и радости этого всегда такого торжественного дня в царских хоромаш было теперь великое уныние и затишье. О именинных столах никто не думал.

Скоро Венделина Сибелиста позвали к царице, ей тоже стало совсем худо.

Время от времени ближние бояре, то один, то другой, осторожно входили в опочивальню, глядели на царя, прислушивались и уходили. Он все спал. Проспал он почти до самого полдня, но вот пошевельнулся и застонал.

Сибелиста еще не возвратился от царицы, а потому дохтур Граман кинулся к царю, подал ему лекарство.

Михаил Федорович лекарство выпил, а на вопрос дохтура, как он себя чувствует, ответил:

— Ничего. Все уходите!

Он, очевидно, собирался с мыслями и еще не ясно понимал, где он и что с ним такое. Наконец сознание всего, что было, вернулось к нему.

«Что же это, помираю я? — подумал он. — Неужто помираю в день такой?»

Он стал вслушиваться в свои ощущения, бессознательно желая решить вопрос, откуда идет смерть, где она стучится. Но, к изумлению, все внутри его было тихо, никакой боли. Напротив, он чувствовал даже большое наслаждение лежать так тихо на своей широкой мягкой кровати: приятная слабость оковывала все его члены; в голове стало совсем ясно; в сердце не было ни тоски, ни томления, никакие тревожные, черные мысли не смущали.

Царь перевел глаза к открытому окну, из которого лились солнечный свет и тепло летнего полдня. Он расслышал где-то вдалеке птичье щебетанье; потом уж близко, у самого окна, заворковали голуби; какой-то неопределенный гул доносился издалека...

Царь жадно вслушивался во все эти звуки, и его снова, как утром, потянуло на воздух, к солнцу, к теплу. Он сделал движение, чтобы встать и подойти к окну, но встать не мог, так велика была слабость. С

большим усилием приподнял он руки и тихонько хлопнул в ладони. Сейчас же несколько человек показались у двери.

— Я не выйду, — тихим голосом произнес царь, — хоть мне и гораздо лучше. Пошлите к царице сказать, что мне лучше, да пусть все будет как положено... За столы, за столы идите, пируйте, чтобы все было как всегда!..

Его приказание было исполнено, но пированье вышло печальное; даже первейшие любители покушать и попить за царским столом и те держали себя в этот день как постники.

Около восьми часов вечера, незадолго до солнечного заката, из опочивальни государя стали все громче и все чаще раздаваться стоны. Снова собрались дохтуры со своими вновь приготовленными лекарствами, но царь отказывался теперь принимать эти лекарства, громко стонал и охал.

— Ох, внутренности все терзаются! — стонал он. — То огнем жжет, то холод по всему телу разливается!..

Прошло еще с полчаса, мучения не ослабевали.

— Позовите патриарха, — приказал царь, — царицу зовите, царевича с боярином Морозовым...

Скоро в опочивальне появилась сухая, согбенная фигура патриарха. Он благословил царя и тихим, старческим голосом стал говорить ему обычные речи, подавать надежду на милость Божию, на выздоровление.

Царь слушал его или, вернее, старался слушать внимательно, проникнуться его словами, но между тем видно было, что неотпускающие мучения время от времени становятся так сильны, что поглощают все его внимание.

Вот появилась, едва держась на ногах, царица. Ее всеми мерами уговорили не выказывать своего отчаяния, поселя в ней надежду, что царь еще не при смерти, что болезнь может отпустить и что пуще всего не следует пугать его.

Царица удерживала слезы. Она почти упала в кресло у кровати рядом с патриархом и обратила на него умоляющий взор. Тот ответил ей спокойным и в то же время строгим взглядом, и взгляд этот, более чем все уговаривания, помог ей сдержать рыдания, подступавшие к горлу.

Наконец появился и шестнадцатилетний царевич Алексей Михайлович. Его юное красивое лицо было бледно, на глазах стояли, не смея выкатиться, слезы.

Он робко подошел к отцовской кровати, припал губами к холодной, опухшей руке царя и замер.

Царь с легким стоном приподнял другую руку и положил ее на голову сына.

— Где же Борис Иванович? — прошептал он.

— Я здесь, государь, — ответил Морозов, подходя ближе к кровати.

Царь посмотрел на красивое, бледное, еще более бледное от густой, обрамлявшей его черной бороды лицо своего ближнего боярина, но не сказал ни слова.

Не один царь смотрел теперь на Морозова, все взгляды были обращены на это несколько мрачное, бледное лицо с почти совсем опущенными глазами, которые оттого, верно, и опускались, что боярин боялся выдать свои мысли.

А может, и мыслей особенных у боярина в этот час не было, он давно уже приготовился к этому дню, давно уже видел, что царя скоро не станет и что ему, а никому другому, придется играть первую роль в государстве. Давно уже, день за днем, шаг за шагом, подготовил он себе эту роль и был спокоен.

Прошло еще с полчаса времени, усилились страдания царя, снова заметался он на кровати, снова застонал; потом стихли его стоны, ему опять стало спокойнее и лучше. Вдруг он заговорил хоть и тихим, но твердым голосом:

— Чувствую я, пришел конец мой. Теперь никакие уж лекарства не нужны мне, все кончено. Смерть пришла — я это знаю, — так угодно Богу.

Он слабым движением руки поманил к себе царицу. Она, уже не в силах сдерживать рыданий, упала головой на грудь его.

— Не плачь, жена, — как будто издалека откуда-то слышала она над собой его голос. — Зачем плакать? Господь знает, что делает. Время пришло... Прости, жена, коли я был виноват в чем перед тобою, отпусти мне... Сын!

Морозов подвел Алексея и помог ему опуститься на колени перед кроватью.



— Сын мой! — уже иным, громким и звучным голосом произнес царь. — Благословляю тебя на царство! Богу угодно отозвать меня к себе, да будет Его святая воля! Юн ты, неопытен, но и сам я таким же, как ты, юношей принял царство. Бог не оставил меня, нашел я руководителей и защитников, и тебя не оставит Бог, коли ты Его забывать не будешь... Боярин наш, Борис Иванович, — все тем же голосом, громким и звучным, продолжал царь, глядя на Морозова, — слушай: тебе, боярину нашему, приказываю я сына и со слезами говорю...

Голос его дрогнул, и из глаз брызнули слезы...

— Как нам ты служил и работал, с великими усердием и преданностью, оставя дом и покой, пекся об его здоровье и научал страху Божьему и всякой премудрости, жил в нашем доме безотлучно в терпении и беспокойстве тринадцать лет и соблюдал его как зеницу ока... так и теперь служи...

Голос царя оборвался. Он тяжело вздохнул, замолчал и закрыл глаза. В опочивальне сделалась полная, глубокая тишина, даже царица остановила свои рыдания. Чувствовалось надо всеми нечто торжественное и таинственное, будто дуновение иного мира пронеслось...

Вечер быстро надвигался, темнота сгущалась, все ярче и ярче загорались огоньки лампад перед образами, и долго все оставались в этой торжественной тишине, не шевелясь, не замечая времени.

Царь то лежал неподвижно, то начинал стонать. На него находило забытье, и ему представлялось что-то светлое, но неясное и хотелось разглядеть и никак разглядеть того было невозможно. Вот он совсем перестал сознавать действительность, забыл о том, что его окружают близкие люди. Ему казалось, что он один, совсем один, среди невозмутимой тишины, и вспомнилась вся жизнь ему от самого детства. Снова переживал он все радостные и печальные события этой жизни. А время шло...

Наступило два часа ночи. Очнулся Михаил Федорович, и будто какой-то голос, ясный и знакомый, шепнул: «Пора! Пришло!» Он открыл глаза, взглянул на патриарха и прошептал:

— Отхожу, желаю исповедаться и приобщиться святых тайн...

Его желание было тотчас же исполнено...

Приняв святые дары, он совсем успокоился. Лицо его теперь не выражало никакого страдания, оно будто просветлело. Еще несколько минут — только глубокий, тяжкий вздох показал, что все кончено...

Несмотря на теплую, ясную летнюю погоду, тишина и уныние царили в Кремле и вокруг Кремля.

Давно уже московские жители унылым звоном колоколов были извещены о переселении в вечность благочестивого государя царя и великого князя Михаила Федоровича, давно уж в тяжелом, дубовом гробу, покрытом червчатым бархатом и драгоценною парчою, стояло царское тело в дворцовой церкви.

Церковные дьяки денно и ночью читали у гроба псалтырь с молитвами.

По всем городам, монастырям и церквам разосланы были гонцы с приказом чинить по царе шестинедельное поминание. В города к митрополитам, архиепископам, епископам, в монастыри — к архимандритам и к игуменам отправил патриарх грамоты с приказом быть на Москву к царскому погребению не медля часу. Но пока соберутся все, пройдет еще немало времени.

К концу первой недели наглухо закрыли гроб царский... Все происходило так, как повелось исстари.

На третий день после кончины царя в царских палатах был на патриарха, ближних бояр и духовенство поминальный стол, во время которого отпевали панафиду<sup>[20]</sup> над кутьею.

Через три недели был другой, такой же поминальный стол, и вот начали съезжаться со всех сторон к царскому погребению оповещенные лица.

Ночь царского погребения — так как, по обычаю, царей хоронили в ночное время — была назначена. Уже с вечера бесчисленные толпы московских людей со всех концов города стремились к Кремлю; множество было и приезжего из городов и из уездов люда.

Площадь, залитая народом, изо всех сил старавшимся пробиться вперед, поближе к пути от царского дворца до Архангельского собора, представляла необычайное зрелище.

В тишине безлунной, звездной ночи эти многие тысячи людей, тесно прижатых друг к другу, являлись каким-то громадным, бесформенным, копошащимся существом, таинственным и страшным.

Глухой гул, исходивший от этого существа, имел в себе что-то зловещее.

Еще до выноса царского тела было далеко, а уже гудевшее таинственное существо начало поедать само себя. То здесь, то там раздавались отчаянные вопли и крики; люди мяли и давили друг друга. Проникшие в толпу воры и душегубцы, пользуясь в темноте всеобщей растерянностью и необыкновенной теснотой, нагло обирали своих соседей, а в случае чего давили их и душили. Стрельцы, обязанные следить за порядком, ничего не могли сделать, и только самих себя оберегали.

Наконец заунывные звуки колоколов возвестили, что царский гроб поднят из дворцовой церкви, и шествие тронулось. Толпа присмирела и затихла.

В теплом, безветренном ночном воздухе доносилось издали церковное пение; запылали бесчисленные свечи в руках идущих. Показались сначала, в траурном облачении, диаконы, попы, певчие дьяки. Вот и гроб царский, несомый духовенством. Позади идут: патриарх, юный царь Алексей Михайлович, бояре, за ними ведут царицу, за царицей царевны, боярыни и боярышни, все в черном, потом все население царского дворца и терема, мужчины и женщины вместе, без чину, тоже все в черном, с громкими воплями и рыданиями.

Ярко горят факелы по обеим сторонам широкого пути, оставленного для печального шествия, за этими факелами вплотную — стрельцы, стражники, едва сдерживающие напор бесчисленной толпы.

Медленно, шаг за шагом, продвигается шествие. Стоящие в первом ряду за стрельцами, стиснутые, сдавленные люди почти не могут дышать, но зато хорошо видят.

Почти у самого входа в Архангельский собор, рядом со стражниками, озаренная светом факелов группа — несколько человек в иноземной, воинской одежде. Впереди всех выделяется стройная, красивая фигура королевича Вольдемара. Не просил и не хотел он участвовать в шествии, но потребовал, чтобы его с ближними к нему людьми пропустили к собору — посмотреть на перенесение царского тела.

Ввиду настоятельности его требований и соображений ближних бояр о том, что теперь, по кончине царя, неведомо еще что будет, как повернется королевичево дело, ему было разрешено занять место у собора.

Стоит он, гордый и красивый, с побледневшим лицом и сверкающими глазами, опираясь на рукоятку шпаги. Блестит и искрится при свете огня его дорогая одежда, горят алмазы, яхонты и рубины тяжелой цепи, надетой поверх всего на его шее; тихо колышутся большие страусовые перья над его головою.

Уж диаконы и певчие дьяки вошли в собор и оглашают его своды звуками канона.

Вот тяжелый, закрытый гроб царский. Глаза королевича мрачно сверкнули; невольное злобное чувство изобразилось на лице его. Не может он побороть этого чувства, ради этого чувства он здесь. Кипит его сердце, вихрь мыслей проносится в голове его.

«Так вот что от тебя осталось, мой мучитель! — думается ему. — Не встанешь ты теперь из этого гроба, чтобы терзать меня. Что я тебе сделал? За что ты надругался надо мною? За что превратил в тяжелую, позорную неволю лучшее время моей жизни?»

Но вдруг на него как бы пахнуло дыхание смерти. Он вздрогнул, и глаза его опустились. Наполнявшая его ненависть мгновенно замерла, и откуда-то, из глубины сердца, поднялось совсем иное чувство.

Ему вспомнилось доброе, ласковое лицо царя в первое свидание, потом вспомнилось это же лицо, такое печальное и страдающее, вспомнились глубокие царские вздохи в ответ на его твердость, на его доказательства и уверения в том, что он, королевич, не может отступить от своей веры, и если царь не желает исполнить подписанного им договора, то он требует честного отпуска. Показалось Вольдемару, будто он снова услышал этот глубокий вздох, будто вздох этот несся от гроба, — и он внезапно понял то, по-видимому, непостижимое противоречие, которое было виною всех полученных им на Москве оскорблений и его долгой возмутительной неволи.

«Он не мог! — сказал себе королевич. — Пусть Бог простит ему... и я прощаю!..»

Он низко наклонил голову перед царским гробом, и как-то тихо и грустно сделалось в его сердце.

Когда он поднял глаза, перед ним была закутанная в черное женская фигура, которую две такие же фигуры вели под руки. Сзади себя он расслышал чей-то голос, говоривший:

— Это царица! Ишь, бедная, убивается! Сама больно недужна, наживет недолго!..

А это кто? Кто глядит на него, на королевича, из-под черного покрывала?

Он еще не успел сообразить и понять, как мучительный женский крик огласил воздух — и стройная, закутанная в черное одеяние фигура упала без чувств на руки окружавших.

Все могла вынести царевна Ирина — только не эту неожиданную встречу.

С тех пор как пропала Маша, с тех первых дней вечного волнения, тревоги и ожидания, царевна как бы перестала жить. Она даже известие о кончине отца встретила будто в бреду, не поняв хорошенько его значения. Она громко плакала и рыдала, но делала это машинально и не давала себе никакого отчета в новом постигшем ее горе. Она приходила к больной матери, которая только и говорила теперь о смерти, слушала ее и оставалась безучастною, будто камень лежал у нее на сердце.

Даже молитва не шла на ум. Подолгу стояла на коленях перед киотом с образами, клала земные поклоны, шептала слова молитвы, но не находила в этом прежней отрады, не лились слезы, облегчавшие страдания, да и страданий как будто уже не было. Камень лежал на сердце, давил — и только.

Время от времени она справлялась, не слышно ли что-нибудь о Маше? Не нашли ли ее? Но и это делала она почти машинально. Кажется, явись теперь Маша перед нею — и ей будет все равно. Ей казалось, да и не то что казалось, а она была совсем уверена в этом, что жизнь ее кончена, все прошло, навсегда исчезло все, чем жила она до сих пор.

Вечером она ложилась в кровать, засыпала мертвым сном, без сновидений, просыпалась утром без мыслей, одевалась, ела, пила, разговаривала с княгиней-мамой, со своими боярышнями, занималась обычными рукоделиями — но ничего это не выводило ее из окаменения.

Точно так же собралась она и на отцовские похороны. Кругом нее, как подняли из дворцовой церкви царский гроб и понесли, раздавались вопли и рыдания. Младшие ее две сестры-царевны заливались непритворными слезами — у нее же ни одной слезы из глаз не выкатилось. Вряд ли она понимала даже, что такое значит этот гроб и кто в нем лежит.

Она двинулась за матерью, рядом с сестрами и боярынями, и шла, по-видимому, совсем спокойно, с застывшим выражением в лице, с глазами, устремленными куда-то прямо перед собою.

Она никого и ничего не видела, но вдруг, когда она подходила к Архангельскому собору, в ней произошла непонятная перемена. Сама не зная почему, она вздрогнула всем телом, на щеках ее вспыхнула давно уже, давно сбежавшая с них краска.

Она подняла глаза, будто ища среди лиц, бывших перед нею и освещенных факелами, кого-то.

Кого ей было искать? Кого ей было ждать встретить?

Она не думала о королевиче. Она не знала, где он и что с ним, никто не сказал ей, что она его увидит, да и трудно было ей узнать его — ведь она ни разу не видела Вольдемара в его обычном наряде. Перед нею, в ее воспоминании — странная высокая женская фигура, на один миг ей мелькнувшая, освещенная лампадкой, приподнятою Машей... а потом мрак...

Но теперь ее вдруг охватило то самое чувство, которое наполняло ее тогда, в тот далекий, бесконечно далекий вечер, в темном теремном коридоре. Ее глаза остановились на стройной фигуре молодого красавца, над головой которого тихо шевелились страусовые перья.

Все в ней застыло, широко раскрылись глаза ее.

Это он! Разве когда-нибудь могла она забыть это мгновение, мелькнувшее перед нею, при свете Машиной лампадки, лицо? Ведь его покрывала она ненасытными поцелуями. Разве можно забыть это? В чем бы ни был он, где бы ей ни явился — не может она не узнать его, не может ошибиться — это он!

Но лицо его спокойно и холодно. Вот он взглянул на нее, он ее видит, видит — и не узнает ее!..

Острая, мучительная боль впиалась ей в сердце, она дико вскрикнула, все перед ней закружилось, все исчезло во мраке и тумане.



Царевну Ирину пришлось отнести обратно в терем. Княгиня Хованская, перепуганная до полусмерти этим обмороком, едва нашла в себе силы сообразить, что же теперь делать, и приказала как можно скорее звать дохтура. Настасья Максимовна, вся багровая и заплаканная, окуривала царевну жжеными перьями и спрыскивала ее с уголька, уверяя, что, наверное, это кто-нибудь из толпы взглянул черным глазом на царевну. На этот раз она была совершенно права: сглазил царевну хоть и не черный глаз, а равнодушный взгляд королевича Вольдемара.

Больная царица так была погружена в свою горесть и в свои телесные страдания, что даже не заметила происшествия с дочерью и ее отсутствия в церкви.

Царский гроб поставили внутри собора близ алтаря, и началось погребальное пение. Отпели царя, опустили гроб в склеп и отверстие покрыли каменной плитой. Принесли кутью, над которою патриарх сказал молитву. По окончании молитвы он трижды отведал кутью, затем поднес ее царице, Алексею Михайловичу, царевнам, всем боярам и разных чинов людям, находившимся в церкви.

Погребение было окончено.

Царицу тоже пришлось нести, так как сама она уже не могла двигаться.

Все стали расходиться.

Подьячие, получившие из приказа в огромном количестве деньги, завертывали в бумагу рубли, полтины и полуполтины, наложили их на подводу, вывезли на площадь и стали всем раздавать деньги.

В народе шел говор о том, что для царского преставления уже выпущены из тюрем все колодники.

— Хоть бы подождали, выпустили бы их после погребения, — рассуждали многие, — а то вон слышали, сколько на площади ограбленных, сколько убитых: более ста человек снесли. Чьих рук это дело? Вестимо, тех же самых колодников, душегубцев.

— Ну да уж что тут толковать! Так исстари повелось, так тому и быть должно. А в такой день без смертей да без увечья тоже никак

невозможно!..

Воцарился над Москвой и над всей православной Русью тишайший, благолепный юноша Алексей Михайлович. Народ московский издавна любил царевича, готов был служить ему верой и правдой. Одно только смущало: чересчур юные годы царя.

— Юн был и Михаил Федорович, взойдя на престол, — говорили в народе, — да ведь тогда рядом с ним кто находился? Отец его, мудрый патриарх Филарет Никитич, а теперь кто заправлять всем будет?

— Боярин Морозов. Вишь ты, сам царь на смертном одре передал ему всю власть и всю силу!..

— Коли сам, так уж что тут!.. значит, так тому делу и быть, по последней царской воле!

Однако же последняя царская воля хоть и признавалась ненарушимой, все же приводила многих в великое смущение.

Боярина Морозова в народе недолюбливали, как-то инстинктивно ему не доверяли, чувствуя в нем не слугу царского, а слугу своей собственной гордыни, своего ненасытного честолюбия.

Ближние бояре Михаила Федоровича тоже ходили нос повеся, вспоминали да взвешивали все прежние обстоятельства, все те случаи, когда боярину Морозову не по нраву кто что сделал. Боярин злопамятлив, ничего не пропустит, ничего не забудет. Кланялись ему ниже пояса, в глаза заглядывали и трепетали.

Покуда Борис Иванович ничем себя не проявлял: со всеми был ласков, работал с утра до вечера над делами государскими...

Явился во двор королевича Шереметев и не то от себя, не то от нового царя, то есть боярина Морозова, повел снова с послем Пассбиргом речь о том, что теперь, мол, времена переменились, у боярина-де Морозова с другими боярами была беседа о королевиче. Боярин Морозов находит, что с его королевским высочеством Вольдемаром Христианусовичем было поступлено неладно, так чтобы король Христианус за это на царское величество государя Алексея Михайловича и бояр гнева не имел. Его царское величество, любя королевича от всего сердца, желает ему всякого добра и захочет иметь его своим братом. Пассбирг, задержав Шереметева, пошел сначала один к королевичу и передал ему слова боярина.

Неопределенная усмешка мелькнула на лице Вольдемара.

— Что же вы на это скажете, принц? — спрашивал Пассбург.

— А ничего не скажу, — ответил Вольдемар, сдвигая брови.

— Этот боярин Морозов, — продолжал посол, — человек иного сорта, чем те бояре, с которыми мы до сего времени имели дело; он поумнее их, посмышленнее, сразу понял, что за такое поведение, за такой прием, какой нам был здесь сделан покойным царем, можно очень ответить. Этот Морозов боится гнева королевского и, понимая хорошо все обстоятельства, желает пуще всего, ради спокойствия государства, которое теперь особенно нуждается в спокойствии, избежать всяких столкновений. Просто-напросто боится он войны, ну и потому положение наше теперь, слава Богу, изменилось. Если вы желаете, принц, то можете настоять на исполнении договора, заключенного с Петром Марселисом. Теперь, при юном царе, вам предстоит здесь действительно первое место, нас же не станут задерживать, отпустят. Дело наше представлялось в безвыходном положении, никто не пришел нам на помощь, а вот кончина царя все перевернула... Шереметев желает вас видеть.

— Так зовите его! — все с той же неопределенной улыбкой сказал Вольдемар.

Шереметев предстал перед королевичем, который сразу заметил в нем большую перемену. Теперь этот царедворец, державший себя в последнее время довольно гордо, выказал перед Вольдемаром все знаки особенного почтения. Даже говорить он стал не прежним, а каким-то новым, вкрадчивым голосом. По всему было видно, что обстоятельства изменились. Вольдемар из пленника, с которым перестали даже церемониться, опять превратился в великую особу.

Шереметев повторил все, что уже сказал Пассбург, только особенно упирал на то, что молодой царь чувствует к королевичу братскую любовь и непременно хочет с ним породниться.

Наконец, он прямо решился высказать свой собственный взгляд на дело.

Он доказывал королевичу, что у покойного царя были советники, старые и опытные, пользовавшиеся неограниченным царским доверием; эти советники могли легко изменять как мнения, так и чувства царя; новый же государь-юноша слушается одного лишь боярина Морозова, который с детства к нему приставлен, да и то слушается его он не всегда, имеет свою волю. Коли он так любит

королевича, то от королевича и зависит получить над царем первенствующее влияние, быть к нему самым близким человеком, устранить от него дядьку Морозова, который во всяком деле склонен больше хлопотать о своих выгодах, чем о царских.

— Так, так! — проговорил Вольдемар, очень хорошо соображая и понимая, в чем дело.

«Вы все тут боитесь этого Морозова, — думал он, — вам бы хотелось, чтобы я его уничтожил, а потом вы и меня есть станете... О, поскорей бы отсюда!»

Но он ничем, конечно, не выдал Шереметеву своей мысли: он сказал, что желал бы повидаться с царем и просит известить, когда царь может его принять.

По уходе Шереметева королевич прошел в свою дальнюю светелку, где сидел, его дожидаясь, любимый паж.

— Знаешь ли, кто у меня был? — спросил королевич пажа.

— Знаю, боярин Шереметев. О чем же говорил он?

— А вот о чем: царь непременно хочет, чтобы я женился на царевне Ирине... Он, видишь ли, очень любит меня и не желает расставаться со мною!..

Нежные щеки пажа побледнели, темные, прекрасные глаза его заволклились как бы туманом.

— Ну что ж, — прошептал грустный голосок, — я так и знала, так оно и должно было кончиться. Будь счастлив, королевич!

— Да, я буду счастлив! — вскричал Вольдемар, подбегая к пажу и крепко его обнимая. — Я и буду счастлив, не сегодня, так завтра пойду к царю и скажу ему: не надо мне любви твоей, не надо мне твоей царевны, отпусти меня скорей домой, не то тебе будет худо! И он меня отпустит, он не может теперь держать меня, и мы уедем с тобою, Маша, уедем на мою милую родину и заживем хорошей новой жизнью. Довольно мучений! Довольно неволи! Пришло наше время!

Такая уверенность, такая молодая сила звучали в его голосе, такой любовью и горячей жизнью горели глаза его, что Маша забыла все свои страхи, все угрызения своей совести и с криком радости и счастья кинулась ему на шею.

В богатом своем наряде, со сверкавшей драгоценными камнями цепью на шее, с гордо поднятой головой и, по-видимому, равнодушным взглядом, вступил королевич Вольдемар в палату, ту самую, где он впервые представлялся покойному царю Михаилу Федоровичу. За королевичем шли послы датские и свита.

Около двух лет прошло с тех пор, как Вольдемар здесь не был. Тогда он находился в уверенности, что приехал на новую свою родину, был весь полон еще впечатлениями только что покинутой им иной совсем жизни, на сердце у него тогда было смутно от всяких ожиданий, сомнений, надежд и зарождавшихся планов. Теперь он чувствовал себя совсем иным человеком, чем в то, как ему казалось, далекое время, и, оглянувшись, с изумлением увидел он, что все здесь как было тогда: те же самые расписные своды, тот же застывший в своих почтительных позах ряд рындов, те же бояре в своих длинных кафтанах и высоких шапках... Тот же самый трон, только на нем уже не тучный от болезни царь с бледным, как бы затуманенным лицом, а свежий, полный жизни и красоты юноша. Рядом с ним, у трона, в свободной позе, высокий, красивый боярин с густой черной бородой, с пронизательными глазами.

«Так вот он, этот боярин Морозов! — подумал королевич. — Вот он, царский воспитатель, которого так все теперь, по-видимому, трепещут, влияние которого на молодого царя предлагают мне уничтожить. Если бы я вздумал здесь остаться, этот человек был бы первым моим врагом. Вот он и теперь как мрачно взглянул на меня. Да, должно быть, опасный враг — какое лицо! Какие глаза! Только я его успокою...»

Юный царь, при входе королевича, быстро встал со своего места и, сойдя по покрытым алым сукном ступеням, с доброй, веселой улыбкой пошел навстречу Вольдемару.

— Радуюсь видеть твое высочество! В добром ли ты здоровье? — раздался юношеский голос.

Царь крепко сжал руку королевича и в то же время искал глазами переводчиков. Вольдемар заметил это и улыбнулся.

— Приветствую твое царское величество на престоле московском, — ответил он по-русски, произнося довольно чисто и правильно и сопровождая свои слова красивым поклоном. — Радуюсь, государь, видеть тебя в добром здоровье, а мое здоровье не худо.

Алексей Михайлович с изумлением и видимым удовольствием воскликнул:

— Как, королевич, ты говоришь по-нашему и как хорошо! Вот не ждал я!

— Во время долгого моего здесь плена что мне было делать? Вот я и выучился хорошо языку русскому, — с недоброй усмешкой ответил Вольдемар.

Царь растерялся и как-то жалобно оглянулся, ища глазами Морозова. Но боярин Борис Иванович был уже около них.

С поклоном, который, однако, мог быть ниже и почтительнее, обратился он к Вольдемару:

— Прости, ваше высочество; государь королевич, зачем ты говорить изволишь о плене? Не в плену ты был, и нечего тебе попрекать великого государя; коли и случилось много для тебя неприятного, то он в этом неповинен. Он тебя любит и почитает и желает одного, чтобы ты ныне забыл все неприятности. К чему помнить старое, надо помышлять не о том, что было, а том, что будет. Твое высочество, государь королевич Вольдемар Христианусович, дорогой высокий гость царского величества, и все мы, ближние бояре, готовы служить тебе.

Морозов поклонился снова, и по его знаку поклонились все бывшие в палате бояре.

«Вот как теперь заговорили, да уж поздно!» — подумал чуть не вслух королевич и взглянул на послов. У них тоже были как бы новые лица и новые фигуры. К ним вернулось все их достоинство и вся их важность, совсем было потерянная ими после мучительных невзгод долгого пребывания в Москве.

— Его царское величество, — между тем продолжал Морозов, — готов с великой радостью иметь тебя в ближнем присвоении и покончить, к общему благополучию, то доброе дело, ради которого твое высочество к нам изволил приехать.

Яркой краской вспыхнули щеки Вольдемара, глаза его загорелись злобным чувством, но он сдержал себя.

— Благодарю тебя, великий государь, — сказал он, обращаясь к юному царю, — дело, ради которого я приехал, не по моей вине стало невозможным. Об этом деле уж давно нет и не может быть разговору, уж давно я и послы отца моего, короля датского Христиана, просим отпустить нас с честью в Данию. Только эту просьбу я и теперь могу повторить пред тобою, государь: повели отпустить нас немедля. Мы долго здесь жили, никакого худа никому не сделали, а с нами было много худого... Мы люди вольные, а я сын великого короля. Правда это, что не надо вспоминать старое, я вспоминать и не буду. Кроме чувства любви и почтения к тебе, у меня нет ничего в сердце, и всю мою жизнь я готов почитать тебя и прославлять твою доброту и ласку, коли ты, великий государь, исполнишь мое желание.

Совсем растерялся Алексей Михайлович, жалобно глядел он на королевича и не знал, что сказать, как быть теперь.

Несколько мгновений молчал и боярин Морозов. Различные мысли быстро проносились в голове его.

«Вот как! — думал он. — Упрямый парень, и гордости в нем много, ну да ведь и то надо сказать, наши тоже хорошо с ним поступали. Так я и полагал, что не по нраву ему будет предложение остаться здесь и жениться на царевне, да и как бы мы это устроили? Ведь уж как ни есть, а в лютеранской вере пребывать ему было бы невозможно. Все к лучшему! Если бы он остался, много бы мне хлопот с ним было. Ишь, ведь орлом каким глядит! Это не то что наши ротозеи, с ним пришлось бы тягаться. Алеше вот больно не по сердцу это, да и как бы зазорно для царевны, что он отказывается. Ну да что ж? Алешу я успокою, объясню ему. Все к лучшему, слава Богу!..»

— Воля твоя, государь королевич, — произнес наконец Морозов со вздохом, — силою держать тебя и послов твоих и всех твоих людей великий государь не станет. Отъезжай. Любя, тебя проводим мы с честью, жалея, что не привелось тебе остаться с нами.

Юный царь готов был заплакать.

— Когда мы можем выехать?

— Когда то вашему высочеству будет угодно, — ответил Морозов.

Вольдемар крепко сжал руку царя, который ему очень нравился, обнялся и поцеловался с ним трижды, сделал всем общий поклон и, полный достоинства, с просветлевшим лицом, вышел из палаты, сопровождаемый своей свитой.

Он на мгновение остановился в одной из царских хором, через которую пришлось проходить, и вдруг стал соображать: далеко ли отсюда и где тот терем, тот сад, тот темный узкий длинный коридорчик, тот маленький чулан, которые, как видение, промелькнули перед ним в далекую, бесконечно далекую теперь от него ночь.

Ему невольно вспомнился прелестный образ царевны, тоже мелькнувший перед ним на мгновение, вспомнились ее поцелуи, а пуще того страшный, мучительный взгляд ее глаз ночью, во время похорон царских. Он снова будто услышал пронзительный крик ее, сердце у него дрогнуло, и в это мгновение он вдруг, неожиданно для самого себя, пожалел о своем решении.

— А что если...

Но он даже не закончил этой мысли, сожаление как мгновенно родилось в нем, так же мгновенно и исчезло. Ему захотелось скорее, как можно скорее к себе... туда, где ждет его не призрак, не мгновение, а долгие часы, долгие дни и, как казалось ему, долгие годы в объятиях милой, любимой Маши.



Ликуют датчане, несказанная радость изображается на всех лицах.

Когда королевич, возвратясь от царя, объявил об отъезде, все боялись даже и поверить такому счастью.

Начались сборы, но они не могли быть долгими. Если бы королевич сказал бы, что надо выехать немедля, сейчас же, все люди его штата побросали бы свои пожитки, оставили бы их на память о себе москвитам, только чтобы скорее, не теряя ни минуты, бежать отсюда, из этих надоевших стен, показавшихся сначала такими интересными и хорошими, а потом превратившихся в мрачную темницу.

Сам королевич, и так уж сильно изменившийся к лучшему со времени появления нового пажа, теперь совсем был другим человеком. Никогда, даже в Дании, его приближенные не видали его в подобном лучезарном состоянии. На него нашло просто какое-то опьянение радостью. Он сам наблюдал за всеми сборами, был то здесь, то там, подходил то к одному, то к другому, дружески похлопывал своих придворных по плечу, шутил, смеялся. Даже старый Пассбирг и тот оживился. Встретясь с пажем — Машей, он и на нее нечаянно взглянул с благосклонной улыбкой, только потом все же сморщил брови и нахмурился, а в первом же разговоре с Билленом говорил ему:

— А с маскарадом-то как мы теперь будем?

— С каким маскарадом? — изумленно спросил его толстяк Биллей, обезумевший от радости скорого возвращения в Копенгаген и свидания с семьей.

— Ну, с пажем этим?

— А вам разве не известно, что принц берет ее с собою?

— Она с нами едет? Это допустить нельзя! — возмутился Пассбирг.

— Попробуйте, не допустите...

— Да ведь, во-первых, кто-нибудь проговорится еще, выйдет неприятность, в последнюю минуту все может быть испорчено.

Биллей улыбался и качал головою.

— Нет, — говорил он, — несмотря на всю вашу строгость, а придется вам примириться с этой девицей. Ее можно жалеть, так как она, на мой взгляд, очень достойна жалости, но что она должна ехать с нами в Копенгаген, в этом нет сомнения. Неужели не видите вы, что если бы даже принц относился к ней иначе, если бы даже он решился ее покинуть, так все наши люди не допустят этого, ведь они все, как один человек, без ума от московитки. Не знаю, почему вы так против нее? Надо быть снисходительнее, да и, право, она лучшее, что мы здесь видели за все время нашего плена.

— Да, — проворчал Пассбирг, — если и вы тоже пленены ею, тогда, конечно, мне только молчать остается, но... но в Копенгагене что скажут?

— Я думаю, даже уверен, что в Копенгагене эта московитка произведет очень сильное впечатление.

— А король?

— Король, вероятно, одобрит вкус своего сына.

— Я умываю руки, — продолжал ворчать Пассбирг.

Вольдемар был так счастлив, его охватывала такая радость, что он долго не замечал, как, впрочем, не замечали этого и остальные, большой разницы во всеобщем настроении с настроением Маши. Среди всех этих сиявших счастьем лиц — одна она была печальна.

Наконец Вольдемар заметил это и спросил о причине. Она подняла на него свои темные, большие глаза, в которых теперь ничего уж не было общего с прежними ее глазами теремного бесенка, — такое в них глубокое и грустное стало выражение.

— Ты едешь домой, к своим, ты едешь из чужой земли, где тебя держали в плену, а я... я все свое оставляю.

Он взял ее руку.

— Да, — сказал он, — но все же ты не должна грустить и печалиться, ведь я теперь знаю твою жизнь, у тебя нет никого родных и близких. Я был здесь в опасности, да ведь и ты была, пожалуй, в еще большей, у тебя есть один только человек, близкий тебе и родной, — это я, и ты едешь со мною... Или, может быть, ты уж не так любишь меня, Маша?

Она печально улыбнулась.

— Я? Не люблю тебя?... Ты говоришь правду, у меня никого нет, я всем чужая... за тобой готова я идти на край света, все равно куда. Не

об этом я думаю, а вот что: здесь ты мой, а там...

— И там буду тоже твой, — перебил он ее, обнимая и целуя.

— Дай-то Бог! Только сердце щемит, как-то не верится этому.

— Клянусь тебе, Маша... — горячо начал он, но она его остановила:

— Не клянись, мой золотой, не надо мне твоей клятвы, знай только одно, коли разлюбишь меня, коли бросишь, тут мне и конец... Ну и довольно, и то правда, чего я нос повесила? Слава Богу, что уезжаем, скорее бы только, скорей!.. А вдруг меня узнают, вдруг отнимут, потащат на пытку... Ну, нет! — совсем уж другим тоном воскликнула она. — Не дамся я! Как по улицам-то московским буду ехать, так все равно что личину на себя надену, глаза зажмурю, щеки надую — вот!

Она сделала такое невозможное уморительное лицо, что Вольдемар захохотал как сумасшедший...

Ранним, сереньким, довольно теплым утром тронулся поезд с королевичева двора.<sup>[21]</sup>

Датчане разукрасили своих коней, надели на себя самые новые красивые платья. Потом, как выедут из Москвы, они переоденутся по дорожному, а теперь пусть смотрят москвиты!

Королевич, окруженный своими придворными, гарцевал на любимом коне. За толпой всадников двигались многочисленные повозки с пожитками.

В одной из этих повозок, между разными тюками, со всех сторон прикрытая ими, сидела Маша. Ее печальное настроение давно уже исчезло. Теперь и она была так же довольна и счастлива, как и все, ничего не боялась, ни о чем не думала. Но вот, выглянув из-за тюков, она так прямо, сразу и увидела крышу терема. Страшная тоска вдруг охватила ее, ей безумно захотелось выпрыгнуть из повозки и бежать туда, скорей, в терем к царевне. Подступившие рыдания сдавили ей горло, слезы так и брызнули из глаз, в голове стало туманно. Почти совсем забылась она... а когда пришла в себя, то увидела, что Кремль остался далеко позади.

В городе по улицам уж было обычное движение. Народ останавливался и глядел с любопытством на поезд королевича.

Маша теперь не плакала. Она из-за окружавших ее тюков глядела на всех этих людей, крестилась на церкви, мимо которых проезжала,

но уж не думала о том, что никогда в жизни не увидит ни этого люда родного и знакомого, ни этих православных храмов, в ней было одно только желание — скорей отсюда и как можно дальше, как можно дальше.

После всего испытанного в Москве датчанам было как-то даже жутко верить своему счастью. Это недоверие их выразилось особенно ясно, когда они выехали из Москвы и ощутили свободу.

Ближние к королевичу Вольдемару люди стали поговаривать, что вдруг все это так только для виду! Вдруг вот едут они себе спокойно, а за ними погоня. Придерутся к чему-нибудь и силою вернут обратно.

Хотя такие предположения и были невероятны, но у страха глаза велики, разговоры эти в конце концов подействовали даже на Вольдемара.

— В таком случае мы не дадимся живыми, будем биться до последнего издыхания! — воскликнул он и приказал всем своим людям вооружиться и быть наготове.

Однако ничего не случилось. Как ни оглядывались во все стороны датчане, не могли они заметить по дороге ничего подозрительного и благополучно добрались до Вязьмы. Было очевидно, что никакого зла против них не умышляют и в Москву вернуть не хотят.

Поверили наконец пленники своей свободе, а королевич из Вязьмы послал государю письмо, в котором благодарил его «за великую любовь и сердечную подвижность, какие царь всегда ему оказывал и теперь оказал в том, что отпустил его и послов королевских со всякою честью».

В конце письма Вольдемар просил царя пожаловать Петра Марселиса.

В этой приписке именно и сказывалось счастье, ощущавшееся королевичем.

Он считал Марселиса виновным во многом в последний год своей московской жизни, не мог равнодушно его видеть, а когда тот пришел с ним прощаться, принял его так сурово, что бедный Марселис ушел совсем расстроенный и оскорбленный. Но вот теперь, на радостях, королевич простил его, и доброе сердце подсказало ему даже желание просить за этого человека, злая воля или неразумность которого причинили столько страданий как самому Вольдемару, так и близким к нему людям.

Дальнейший путь совершился без всяких неприятных приключений. Быть может, опасения датчан и оказались бы основательными, если бы ко времени их отъезда вернулся Апраксин, посланный к королю Христиану, вслед за кончиной царя Михаила Федоровича, с известием о восшествии на престол царя Алексея. Может быть, бояре, не способные вынести ничего, касавшегося умаления царской чести, действительно выместили бы на Вольдемаре и датчанах неудачу этого посольства.

Но Апраксин еще не вернулся, и в Москве не знали, что король Христиан, приняв от него грамоты, о здоровье государевом не спрашивал, к руке своей не позвал гонца московского и к столу его не пригласил, а ответную грамоту прислал ему с секретарем.

Апраксин требовал, чтобы король лично, как всегда это водилось, отпустил его, но Христиан об этом и слышать не хотел, и пришлось Апраксину уехать без королевского отпуска с такою грамотою:

«Хотя мы имеем сильные причины жаловаться на исполнение договора о браке сына нашего с вашею сестрою, но так как ваш отец скончался, то мы все это дело предаем забвению и хотим жить с вами в такой же дружбе, как жили с вашими предками».

По счастью, король Христиан должен был ограничиться холодным, несколько высокомерным тоном и оскорблением, нанесенным послу московскому. Ему хотелось бы посильнее ответить за страдания сына, но обстоятельства были не таковы, чтобы начинать войну с московским государством...

Молодые датские придворные, и главным образом — Генрих Кранен, который имел на то свои личные, сердечные причины, начали вспоминать в разговорах с Вольдемаром о веселом времяпрепровождении в Вильне и о том, что королевич обещал при первой возможности туда приехать. Но Вольдемар отвечал на это:

— Тогда было одно, а теперь другое. Нет, мы минуем Вильну. Мы возвращаемся вовсе не в таком положении, каким можно бы хвастаться, и очень может быть, что в Вильне теперь встретили бы меня не почести и любезности, а насмешки. Да и, наконец, я удивляюсь вам: неужели не дорог вам каждый день, каждый час, приближающий нас к Дании? Я, по крайней мере, думаю об одном, как бы скорее быть дома.

В этих рассуждениях заключалась правда, но не вся, — некоторые из молодых датчан, которые полагали, что теперь все равно Дания не уйдет от них, перешептывались между собою.

— Да, оно понятно, почему принцу теперь не до Вильны: его московитка с ним, он забыл и думать о виленских дамах и девицах. Ну, что ж делать, и нам придется забыть о них, а жаль — то-то бы повеселились после тюрьмы московской!

Молодые датчане были правы. Вольдемар не думал ни о каких красавицах, а о Маше думал много. С каждым днем росла его к ней страстная привязанность. Он часто мечтал о том, как устроит ее в Копенгагене, как употребит все меры для того, чтобы сделать жизнь ее приятной и спокойной.

«Ну можно ли было думать, — говорил он себе, — что в этой варварской Москве я найду такое сокровище?!»

Маша быстро перерождалась. У нее оказались чуть ли не такие же хорошие способности, как у королевича: она с каждым днем все больше и больше осваивалась с датским языком, а датчане, наперерыв друг перед другом, пользовались каждым удобным случаем, каждой подходящей минутой, чтобы учить ее новым словам и оборотам речи. В этой теремной дикарке оказалась врожденная способность русской женщины очень скоро применяться ко всякой обстановке, легко и незаметно усваивать чужое.

Вместе с этим, по мере отдаления от Москвы, совсем проходила и тоска Маши. Ее, очевидно, по дороге нагнали все ее бесенята и снова завладели ею. Она стала весела и шутлива.

Так как до границы королевича сопровождали приставленные русские люди, то необходимо было соблюдать прежнюю относительно Маши осторожность, но она сделалась смела, весела, задорна, так что королевич иногда за нее боялся, а Пассбург отворачивался и ворчал:

— Вот помяните мое слово, еще наделает нам бед эта девчонка!

Но беды никакой не случилось, и наконец королевич со свитой и хорошеньким пажем прибыл в Копенгаген.

Король Христиан сильно радовался, увидя сына бодрым и здоровым, а выслушав подробный рассказ его и послов о том, что им пришлось вынести в Москве, он пришел в страшное негодование; многого он не знал еще. И опять-таки счастье было, что Апраксин уже уехал с его грамотой.

Через несколько дней по возвращении Вольдемара король пришел к сыну. Негодование его уже улеглось, и он был в веселом настроении духа.

— А ты, оказывается, многое скрыл от меня, — сказал он притворно сердитым тоном. — Ты рассказывал мне о дурном с тобою поведении москвитов, а о своем дурном поведении — ни слова; между тем старик Пассбург на тебя сильно жалуется.

— Вот как! — воскликнул Вольдемар, хорошо понимая, в чем дело.

— Он говорит что-то о своих седых волосах, просит считать его непричастным к твоим дурным поступкам. Он говорит, что у тебя какой-то паж, вывезенный тобою из Москвы.

— Был паж, — ласково заглядывая в глаза отцу, начал Вольдемар, — только теперь никакого пажа нет, а есть московская боярышня, которую я люблю всем сердцем. Я сам хотел с тобою поговорить об этом... дорогой отец, выслушай меня.

И он рассказал ему откровенно всю свою историю. Он говорил горячо, и король видел, что Вольдемар не на шутку увлечен своим бывшим пажем, но не видел он в этом ничего опасного. Между тем королевич говорил:

— Я очень много обязан ей, в то время как все это случилось, я дошел до полного отчаяния, я уже не мог выносить этой жизни, этого позорного плена. Бывали минуты, когда я готов был наложить на себя руки. Это правда, ты можешь спросить об этом у всех, кто был со мною. Да и не я один, все были в таком состоянии. Она, эта девушка, своим присутствием, спасла и меня, и всех.

Король внимательно слушал; он понимал сына, он сам, как известно, был склонен к сердечным увлечениям и не мог себе представить счастливой жизни без любимой женщины. Теперь он был уже стар, сердце его уже не билось сильнее при взгляде на женскую красоту, но все же в этом сердце хранилось столько милых и приятных воспоминаний.

— Так покажи мне свою волшебницу, — сказал король, — а то ты наконец мне такого о ней насажешь, что я буду ждать встретить чудо, а чуда-то и не окажется. Любопытна эта московская боярышня!.. — прибавил он.



Вольдемар показал отцу свою волшебницу, и король отнесся к ней благосклонно. Благосклонность короля обратила на нее всеобщее внимание.

Если бы Маша, подобно большинству юных теремных затворниц, обладала только красотой, если бы шаловливые бесенята не передали ей своих лучших свойств, она погибла бы на этой чужбине, ее красота скоро наскучила бы королевичу, он бы разлюбил ее. Но красота Маши была на втором плане, да и красоты в ней особенной не было. Она сразу не могла никому броситься в глаза; в Копенгагене нашлось бы немало гораздо более эффектных и ростом, и дородством. Но в небольшой, тонкой Маше с ее подвижным личиком и большими темно-серыми глазами, умевшими говорить и высказывать что угодно, была большая прелесть, действовавшая на человека все больше и больше, по мере того как он знакомился с нею.

Ее живой характер, живой ум, природная кокетливость и шаловливость, а главное — женский такт, которому научил ее, конечно, не терем, а все те же приспешники-бесенята, составляли для нее крепкое и надежное оружие, с помощью которого она могла постоять за себя. Она страстно любила своего королевича, но не надоедала ему своей любовью...

Он устроил ей прелестное гнездышко, роскошь которого не напоминала своеобразной роскоши царицына терема, но пришлась Маше очень по вкусу. Скоро она по виду и манерам превратилась в датчанку.

Королевич приставил к ней учителей. У нее оказались музыкальные способности, хороший голос. За все она хваталась жадно, все она быстро усваивала.

В ее теплом гнездышке Вольдемар проводил свои свободные часы; к ним присоединялись иногда его молодые приятели. Наконец у Маши появилось и женское общество: она была интересна, была в моде.

Часто вечером, по окончании полного занятий и удовольствий дня, Маша, оставшись одна, вздыхала всей грудью от избытка счастья. «Боже мой, как хорошо на свете!» — думалось ей. Являлась мысль о будущем, но она ее гнала; являлись временами воспоминания; мелькали навеки покинутые фразы, тоска заползала в сердце. Вдруг начинало тянуть ото всего этого счастья в покинутую даль, где прошло

ее темное детство и первое время юности, где она была бедной «девочкой-сиротой», которой, чуть не каждый день, драла уши суровая постельница Настасья Максимовна.

Слезы показывались на глазах у Маши, опускалась голова ее; вздохи счастья превращались во вздохи печали. Но у нее было одно заветное слово, один талисман, посредством которого она отгоняла все эти призраки. «Вольдемар!» — шептала она — и призраки исчезали.

## ЭПИЛОГ

Такая спокойная и счастливая жизнь Маши продолжалась года три.

В 1648 году скончался король Христиан IV, и тотчас же после его смерти пришлось Вольдемару вспомнить опасения отца, на основании которых он решился расстаться с любимым сыном и отпустить его в далекую, чудную страну, где судьба тогда сулила ему счастливую и спокойную жизнь. Родственники никогда не могли простить графу Шлезвиг-Голштинскому исключительной любви к нему короля, к тому же он был опасен, в Дании его очень любили.

У Вольдемара был преданный друг, человек энергичный, решительный и способный, Корфиц Улефельд. Он был женат на сестре Вольдемара. Честолюбие его было безгранично, он хорошо понимал, что, несмотря на все свои способности, не может сам достигнуть престола, а поэтому решил во что бы то ни стало возвести на престол своего друга, графа Шлезвиг-Голштинского. Он завел смуту и длил междуцарствие.

За Вольдемара были многие, но сам он, хоть и желавший занять престол, ввиду ненависти к нему старшего брата, которая сулила ему всякие беды, все же не мог вести как следует интригу. Интрига была не в его прямом, откровенном характере.

Дело Улефельда не удалось, второй сын Христиана от королевы Екатерины, Фридрих III, был возведен на престол, а принцу Вольдемару пришлось бежать в Швецию. Конечно, за ним последовала и Маша.

Здесь началась совсем иная жизнь. Прежнего счастья уж не было — вечные опасности, заботы, опасения, — но и на эту новую жизнь не жаловалась Маша. Пока Вольдемар был с нею, пока она могла разделять его радости и горе, ей ничего иного не хотелось. Ему была неудача, горе — ей двойная неудача, двойное горе, ему радость — ей двойная радость.

Но вот началась польская война.<sup>[22]</sup> Вольдемар принял в ней участие в армии шведского короля Карла X. Отговорить его от этого не

было возможности, да Маша и не отговаривала. Но не было возможности заставить и ее покинуть Вольдемара.

Тайно от принца приготовилась она, и в тот час, когда он думал проститься с нею, она явилась перед ним в виде маленького, хорошенького воина, вооруженного с головы до ног и готового к бою. Он не ожидал ничего подобного и сразу даже не понял, что это значит. Наконец он понял.

— Маша, дорогая моя, ты с ума сошла! — воскликнул он. — Разве можно это? Я иду туда, куда зовет меня мой долг, честь мужчины, моя судьба, я не могу не идти, а ты...

— А я, — перебила его Маша, — тоже не могу не идти туда, где ты подвергаешь опасности жизнь свою. Разве ты не знаешь, что моя жизнь в тебе и другой у меня нет? Подумай, как же я останусь?

Он взглянул на нее и понял, что действительно остаться, покинуть его ей нет никакой возможности. А она смеялась?

— Посмотри, чем же я не воин? Мала только, ну, да не беда это! Ты сам знаешь, как я могу верхом ездить, а стреляю, ты сам опять-таки знаешь, стреляю я метко.

— Маша, подумай, да ведь это война, я буду в постоянной опасности. Я не стану прятаться и беречь себя.

— Я знаю все это, — ответила она. — Мы не будем с тобой прятаться, не бойся, рядом с тобою я ничего не испугаюсь, не осрамлю тебя. Жизнь наша и смерть вместе.

Исполнились эти слова Маши. Впереди своего отряда, в пылу жаркого сражения нашел смерть королевич Вольдемар; на ее руки он упал бездыханный. Маша перекрестила его, поцеловала.

— Стреляйте, ляхи! — крикнула она по-русски.

Что-то ударило ей в грудь, прямо в сердце, и она упала с предсмертным стоном на труп своего королевича...

А в это время там, в Царицыном тереме, где распоряжалась новая молодая хозяйка, царица Марья Ильинична, шла все та же обычная жизнь, жизнь человеческого муравейника. День за днем, как вчера, так и сегодня. Вырастали, созревали и увядали до срока до времени, не радуя ничьего взора, красивые цветки — царевны. Раньше других увядала царевна Ирина. Пережитое ею горе не унесло ее жизни, но навсегда придавило ее своею тяжестью.

Теперь она уж не знала радости. Бледная, с потухшим взглядом, казавшаяся гораздо старше своего возраста, она жила безучастная ко всему и ко всем. Никого она не любила, будто сердца у нее совсем не было, будто вырвали его у нее. Прежде, в первое время, пока хоть и измученное, а все же трепетало и жило в ней сердце, она умела молиться и находить в молитве отраду. Теперь и этой отрады не было. Обычная молитва, перешедшая в привычку, не приносила ей никакой радости и облегчения.

Мало-помалу царевна изменилась в характере, так изменилась, что если бы воспитавшая ее мама, княгиня Марья Ивановна Хованская, была еще в живых, она не узнала бы своей воспитанницы. Теперь уж не говорили о царевниной доброте теремные жительницы, а постельница Настасья Максимовна иной раз шепотом на ушко надежной приятельнице толковала:

— Зла наша царевна Ирина Михайловна, никакой в ней нету к людям жалости, сколько слез от нее по терему! Никто ей не угодит, все неладно, так и норовит обидеть человека, под беду подвести его. И что такое случилось с нею? Ведь добра была как ангел Божий...

— Так отчего бы это? Какая тому причина? — тоже таинственным шепотом спрашивала Настасью Максимовну приятельница.

— Какая тому причина?! Одна причина: зельем таким опоили царевну. Зелье такое, вишь, есть, сушит оно сердце, делает из доброго, ласкового человека — ненавистника.

— Да кто же бы это? И как случилось такое в тереме?

— Ума приложить не могу, матушка, ума приложить не могу! На глазах она у меня была сыздетства. У меня да у покойной княгини Марьи Ивановны, и сама ты знаешь, провести меня мудрено, все я вижу... А тут и недоглядела. Вот грех-то какой! Как-то!

Настасья Максимовна, по старой привычке своей, разводила руками и печально задумывалась.

---

notes
-------

## **Примечания**

*Мама царицы Ирины Михайловны...* — По обычаю того времени, при рождении младенца в царской семье для него выбиралась кормилица, а также назначались мамы и дядьки, следившие за воспитанием ребенка в первые годы жизни. *Романова, Ирина Михайловна* (1627–1679), царица, старшая дочь царя Михаила Федоровича.

*Стольники, дворяне, стряпчие, дьяки, стрелецкие начальники на «крыльце постельном», бояре, окольниковый, думные и ближние государевы люди «вверху», в «передней»...* — Каждый придворный чин пользовался своими привилегиями в царском дворце. Так, бояре, окольниковый, думные и ближние люди могли находиться «вверху», то есть в жилых покоях государя. Для прочих придворных чинов это было совершенно невозможно. Им полагалось стоять на «постельном крыльце», расположенном посреди дворцовых зданий, между приемными большими палатами и жилыми теремными покоями царя.



**3**

*Рында* — оруженосец, телохранитель.

**4**

Вступать в брак.

**5**

*Ответ* — переговоры.

**6**

*Тельное* — всякое рыбное блюдо.

*...вступил в мorganатический брак...* — то есть в брак с особой некоролевской крови.

*...его попросили снять шагу...* — Во дворец нельзя было входить с оружием. Исключений не делалось ни для кого — ни для послов, ни для бояр, ни даже для государевых родственников.

*Докончание* — договор, соглашение; здесь: заключение соглашения.

*...у иных вер вместо крещения обливают и миром не помазывают...* — Лютеранское крещение (как и католическое) заключается в обливании крещаемого водой, тогда как православный обряд предполагает троекратное погружение в освященную воду и последующее таинство миропомазания.



*Обослаться с кем-либо* — обратиться, сообщить.

*Царь Василий призвал их на помощь, а они оказались злыми врагами.* — Имеется в виду договор о военном союзе против Речи Посполитой, заключенный между Швецией и Московским государством во время царствования Василия Шуйского. После низложения царя Василия условия договора были нарушены, и шведы стали захватывать северные русские города.

В постоянном общении.

*И король с панами радными знают ли про это дело?* — «Радными панами» называли шляхтичей, заседавших на сеймах Рады Великого княжества Литовского — высшего органа государственной власти. После 1569 г. лица, входящие в Раду Великого княжества Литовского, получили право заседать в сенате Речи Посполитой.

*Новый, 1645 год настал. 9 января...* — Автор пользуется привычным нам счетом лет от Рождества Христова. Следует помнить, что на Руси такое счисление введено только 20 декабря 1699 года. До этого счет шел от сотворения мира, а год начинался 1 сентября. Таким образом, ко времени описываемых событий новый год (7153-й от сотворения мира) в Московском государстве наступил уже четыре месяца назад.

*«Чти отца твоего и мать твою и долголетен будешь на земле»*  
— одна из заповедей, данных Господом Моисею на горе Синай (Исход, XX, 12).

*...взяли его в плен черкасы...* — Так в те времена русские называли украинцев. Надо иметь в виду, что каждый из народов — предков современных русских, украинцев и белорусов — только себя называл русскими. Украинцы, с точки зрения русских и белорусов, считались черкасами, белорусы (с точки зрения русских и украинцев) — литвинами, русские (с точки зрения украинцев и белорусов) — москалями.

*...подскарбий коронный...* — Древний чин в Польше и Литве, ведавший королевскими сокровищами и чеканкой монеты.



*...из Подляшья...* — Историческая область в среднем течении Буга (приграничные районы Польши и Белоруссии: Брест, Кобрин, Белосток, Ломжа).

Панихиду.

*...тронулся поезд с королевичева двора...* — Произошло это 17 августа 1645 года.

*...но вот началась польская война...* — Имеется в виду польско-шведская война 1655–1660 гг.